АННА МАСС

# МАЛЬЧИК И СНЕГ

PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190

АННА МАСС

# МАЛЬЧИК И СНЕГ

РАССКАЗЫ
И
ПОВЕСТЬ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1984

84Р7
М32

М 4702010200—172
078(02)—84 096—84

© Издательство «Молодая гвардия», 1984 г.

# РАССКАЗЫ

## МАЛЬЧИК И СНЕГ

Мама вошла в комнату почти неслышно, ни одна половица не скрипнула, но в Митин сон просочилось ощущение маминого присутствия — теплое движение воздуха, запах теста. Он мог, не просыпаясь, взять маму в свой сон — этот сон ему часто снился, и Митя научился вести себя в нем по-хозяйски. Но вместе с теплым, уютным движением и запахом вошла в сон тревога: почему мама идет так осторожно? Почему не говорит: пора в школу? И от этой тревоги сон тут же отлетел. Митя открыл глаза.

Сквозь растворенную дверь проникали из кухни потрескивание плиты и тусклый, колеблющийся свет. Если мама печет пироги — значит, ничего плохого не случилось. Он протянул руку и поймал подол маминого платья.

— Ты чего проснулся? — сказала мама. — Еще семи нет. Я только полотенце чистое взять из шкафа. Спи, в школу сегодня не пойдешь.

— Почему? — спросил Митя и сел в постели.

— Некому отвезти-то тебя: папа с Глебом Сергеевичем к утреннему поезду поехали, встречать нового инженера, а Васю как с вечера вызвали на звероферму, так он и не приходил. У него там какие-то лисицы заболели, ценной породы.

— Я на лыжах!

— И не выдумывай. Эка беда — один день пропустишь!

Но он уже нащупывал на спинке кровати колготки, брюки, рубашку.

— Смотри, темень какая! — уговаривала мама. — До поселка пять километров, повороты крутые, зазевашься — сорвешься!

— Я все повороты с закрытыми глазами помню.

— Разве тебя переспоришь! — сказала мама. — Упрямый, как отец. Ну, раз так, вставай, что с тобой делать?

Взяла полотенце и ушла на кухню.

В комнате сразу стало как будто холоднее. Митя раздвинул занавеску и увидел ночные снежные контуры гор и звезды над ними, а напротив окна — привычный темный силуэт «ничейного» финского дома, куда сегодня должны поселить нового инженера. Вчера дом приводили в порядок — промазывали и белили печь, мыли полы. Теперь на их горной сейсмической станции по вечерам будут оживать все три дома. Четвертый — дом-лаборатория — стоял на отшибе. Митя бывал там с Глебом Сергеевичем, начальником станции. Это был замечательный дом! Там жили машины, которые предсказывали землетрясения. Они мигали красными лампочками, и на их маленьких экранах возникали, прыгали, змеились, исчезали ломаные линии, словно рассказывали на своем машинном языке о том, что происходит глубоко под землей. Глеб Сергеевич этот язык понимал. Он вообще, казалось Мите, понимал все на свете.

Вчера, когда они возвращались из лаборатории по глубокой тропинке, протоптанной в снегу между стволами сосен и пихт, Глеб Сергеевич вдруг остановился и стал рассказывать Мите про созвездия и планеты. Про Венеру, которая висела прямо над их головами и была такая яркая, что от нее, казалось, брызжут во все

стороны маленькие искорки. Глеб Сергеевич рассказывал про Венеру, и у него было такое лицо, как будто там, на искрящейся планете, у него остался друг, без которого ему грустно и одиноко.

Конечно, скорее всего это была только Митина фантазия; это ведь была его мечта — полететь на Венеру и найти там друга.

Мама месила тесто в большой белой кастрюле. Другая кастрюля, на которой эмаль облупилась так, что темное пятно внизу напоминало по форме маленького крокодила, была прикрыта вафельным полотенцем, и под ним округло вспухало, словно дышало, тесто. На плите возле дверцы обмазка немного отвалилась, и в щели метался огонь, кидая блики на дощатый крашеный пол. На столе тускло светила керосиновая лампа с колеблющимся язычком пламени — движок по утрам не включали.

Мама локтем придвинула Мите тарелку с яичницей и продолжала месить место, разговаривая то ли с Митей, то ли сама с собой:

— Надо нового человека встретить домашними пирогами. Чтобы он сразу себя почувствовал как дома. Я, знаешь, как загадала: если хорошо тесто взойдет — значит, хороший человек. Ну, дрожжи просто исключительно удачные. Глеб Сергеевич привез. Вот и его побалую пирогами, а то худой стал, просто невозможно. Работает много, а позаботиться о нем некому. Один да один. Хоть бы женился.

— Мама, а почему он все один да один? — спросил Митя.

— Не знаю, — ответила мама. — Говорят, жила здесь девушка-сотрудница, а потом уехала. Это еще до нашего приезда было. Он ведь тут двенадцатый год работает, с самого начала, как станцию организовали. Может, он эту девушку любил, забыть не может. Повсякому бывает. Он о себе не охотник рассказывать. Налей-ка себе чаю, сынок, а то у меня руки в тесте.

Попив чаю, Митя встал и оторвал листок с календаря, висящего в простенке между окнами, под часами. Он помнил, какой этот календарь был толстенький, гордый, когда папа принес его и повесил. Как будто таил в себе много разных интересных событий. И вот осталось всего три листка, а никаких особенных событий не случилось.

Он взял фонарик и вышел в тамбур. Фонарик светил тускло — батарейки подсели. Митя поставил его на пол, надел куртку и вязаную шапочку-шлем, аккуратно зашнуровал лыжные ботинки и вышел на крыльцо.

Пробивался слабый, едва заметный рассвет. Звезды потускнели. Мощные контуры гор стали серыми, расплывчатыми. Казалось, утро медленно, с трудом одолевает ночь.

Градусник, прибитый к столбику крыльца, показывал минус семь. Видно, ночью шел снег, он замел тропинку, ведущую к угольному сараю, но вдоль того места, где должна быть тропинка, узенькой цепочкой тянулись следы белого зверька, который жил за сараем. Митя каждый вечер оставлял ему под крыльцом еду. Зверек был похож на белую ящерицу — тоненький и длинный, с настороженными бусинками глаз и острой мордочкой. Его гладкая шкурка почти сливалась со снегом. Папа сказал, что это ласка, хищный зверек, и что надо поставить капкан, а то передушит кур. Но Митя так возмутился, когда услышал про капкан, что папа только рукой махнул: ладно, пусть живет. Он только забил все щели пристройки-курятника.

И еще одни следы — глубокие следы валенок от крыльца соседнего дома в сторону леса. Это Галя-маленькая, лаборантка, пошла на дежурство принимать сигнал точного времени. Митя спустился с крыльца и открыл дверь пристройки. Посветил фонариком — куры заквохтали, а одна чуть не свалилась с насеста, — взял перевязанные и поставленные на распорку лыжи, отыскал тюбик с лыжной мазью.

Собаки — черный, коротколапый Джек, грустная, с ободранным носом рыжая Дианка и старый Зорба с обрезанными ушами — подошли и расселись вокруг, высунув языки. Смотрели, как он растирает лыжную мазь пористым брусочком.

На крыльцо вышла мама, вынесла ранец.

— Вот, я тебе коржиков напекла на скорую руку, возьми.

Стараясь не зачерпнуть снега в домашние тапочки с белой меховой опушкой, которая на белом снегу казалась грязно-серой, она шагнула с крыльца и сунула Мите в карман пакет с горячими коржиками.

— Спасибо.

Митя надел ранец, подтянул ремешки, чтобы не терло лопатки, застегнул лыжные крепления, сунул руки в ременные петли палок.

Мама поправила ему шапочку-шлем, поплотнее закутала горло, обдернула свитер под курткой. Митя видел, как ей не хочется его отпускать.

— Ну иди, — вздохнула она. — Я ведь понимаю, почему ты так в школу рвешься... Понимаю.

Все три собаки побежали за Митей, но Зорба вскоре повернул к будке. Дианка виновато тявкнула и потрусила за ним. И только коротколапый Джек, хоть и утопал в снегу по грудь, продолжал сопровождать Митю.

За ночь все следы на дороге занесло снегом. Там, где проехал папин грузовик, осталось едва заметное углубление от колес.

Ночь теперь быстро отступала, как будто пряталась в ущелья гор. Пройдя немного, Митя оглянулся. Вот дорога и ожила — на ней появилась свежая лыжня с кружочками лыжных палок по бокам и со следами собачьих лап.

Лыжи бегут вниз, вниз, вниз, ветер посвистывает в ушах, успевай только притормаживать на поворотах.

Вон за тем выступом скалы дорога пойдет еще более полого, там, в ложбинке горы, они с Глебом Сергеевичем срубили на днях небольшую пихту, принесли на станцию и поставили возле стены «ничейного» дома. Этот дом оживал только по праздникам. Мама и Галя-маленькая топили печку, накрывали скатертью стол, готовили закуски и пекли пироги. Приезжали гости из поселка, и на станции становилось непривычно шумно.

В прошлом году Мите в первый раз разрешили встретить Новый год со взрослыми. Но он недолго с ними побыл. Как отхлопали бутылки с шампанским, Глеб Сергеевич отвел его домой и уложил спать. Митя, засыпая, слышал, как Глеб Сергеевич на кухне шелестит страницами книги и подбрасывает в печку уголь. Наверное, ему не захотелось возвращаться к гостям и к себе, в пустую половину дома, тоже не хотелось.

...Поворот. Митя перенес тяжесть тела на правую ногу, развел лыжи плугом, как учил Глеб Сергеевич. Джек семенил сбоку, высунув язык и дружелюбно косясь на Митю умными глазами.

Еще поворот. Ноги привычно пружинят. Вот остался позади замерзший водопадик — только тускло блеснул лед во впадинах и трещинах скалы. Внизу, в долине, еще затянутой серой дымкой, стали видны овцеферма и домик для чабанов. Вдоль края дороги мелькают белые столбики.

Ему припомнился утренний сон, который отлетел с приходом мамы. У него такое бывало — прерванный сон возвращался к нему днем и как бы продолжался наяву. Ему снилось, что он летит в ракете. Ракета очень похожа на кабину папиного грузовика — даже лохматый чертик с пружинными ножками прыгает из

резиночке перед ветровым стеклом, как у папы в кабине.

Он отыскал на планете Венера друга и возвращается с ним на Землю. Вот уже видна их маленькая горная станция со всем своим населением: вон мама спускается по тропинке, ведущей из лаборатории, вон дядя Вася и Галя-маленькая стоят возле мотоцикла. Глеб Сергеевич и папа выходят из дизельной. И все смотрят вверх, и у всех радостные лица. Только Глеб Сергеевич вдруг махнул рукой и отвернулся. И Митя вдруг вспомнил: ведь там, на Венере, остался друг Глеба Сергеевича! Как же он мог об этом забыть! И он рвет на себя ручку управления, и ракета снова устремляется ввысь, к искрящейся планете...

От зверофермы потянуло запахом тухлого мяса, донеслось тявканье черно-бурых лисиц. За низким забором стали видны сетчатые вольеры. Вдоль них ходили люди в белых халатах.

На ветках дубов дремали жирные вороны. Когда с фермы доносился резкий звук — звяканье ведра или хлопанье дверцы, — вороны, не взлетая, лениво взмахивали крыльями, и из-под их лапок сыпался снег. Митя терпеть не мог этих ворон, разжиревших на отбросах лисьего корма. Он на ходу слепил снежок и швырнул в самую ближнюю ворону, но не попал, и ему показалось, что ворона посмотрела на него с презрением.

У забора стоял дяди Васин мотоцикл, прикрытый куском заснеженного брезента. Джек подбежал к мотоциклу, обнюхал его и юркнул в ворота. Побежал искать дядю Васю. Джек и на ферме был как дома, его там все знали и подкармливали.

Дальше Митя пошел один, но теперь до поселка оставалось совсем немного.

Дорога стала твердой, наезженной, вся в следах

шин и полозьев, в пучках соломы, во вмятинах от лошадиных копыт. Пахну́ло навозом, бензином, и за поворотом открылся поселок.

Он лежал в долине и напоминал грушу. Узкую его часть составляли два ряда двухэтажных каменных домов с застекленными верандами. Здесь было как в деревне. Бродили пестрые, мохнатые поросята с большими вислыми ушами. За палисадниками на веревках висели присыпанные снегом, твердые от мороза простыни, рубашки, детские ползунки. Белый дым тянулся из труб и столбами упирался в поголубевшее небо. Вот в этом украшенном резными завитушками доме живет зубной врач Шота Давидович. С его дочкой, Донаркой, Митя учится в одном классе. А это дом заведующего почтой, Ираклия Григорьевича. А вот здесь живет Коба Саникидзе, гордость поселка, знаменитый на всю страну горнолыжник.

Митя снял лыжи и понес их на плече: дорога стала рязной, из-под талого снега выступали черные смерзшиеся комья земли. После тишины, белизны и малолюдья их станции, после одиночества дороги он радовался лицам, машинам, домам, запахам и краскам.

Школа стояла в широкой части поселка, там, где были все лучшие здания — кинотеатр, Дом быта, универмаг, почта и недавно открытый пятиэтажный пансионат с рестораном и киоском, в котором продавались значки и тбилисская жвачка. Возле пансионата столпились машины и автобусы — был заезд отдыхающих.

Митя поставил лыжи в углу гардероба, разделся и пошел в класс. Звуки школы — топот, гортанные крики, визг и смех — радостно оглушали его. Он наслаждался шумом, ему стало весело и жарко.

Он вошел в класс и сел за свою парту у окна. Его сосед Реваз обсуждал с двумя мальчиками вчерашний хоккейный матч. Они кричали и размахивали руками.

изображая резкие повороты и падения игроков, называли имена, которых Митя не знал, говорили, что девятый номер из батумской команды хорошо обводит, но не умеет бить по воротам, а ахалкалакская тройка никуда не годится, только путается под ногами.

— Ты видел? — обернулся Реваз к Мите.

— Нет, за мной ведь папа заехал сразу после уроков.

— А! — махнул рукой Реваз и отвернулся от Мити, всем своим видом показывая, что с человеком, пропустившим такое зрелище, не о чем и разговаривать.

Реваз, наверно, не хотел его обидеть, но радость погасла. Это всегда так бывало. Его в школе никто не обижал, но никто и не искал с ним дружбы. Он дорожил каждой минутой общения с товарищами, а они легко обходились без него. Поселковые ребята и после школы были все вместе, а его увозили в горы. Возможно, кто-то из них даже завидовал ему — ведь каждый день он ездит на машине, и отец дает ему покрутить руль, и он постоянно общается с таким уважаемым в поселке человеком, как Глеб Сергеевич, который выступал у них в классе и рассказывал про землетрясения. Но в Мите они не нуждались, а ему так не хватало друга.

Прозвенел звонок, вошла Анна Семеновна со стопкой дневников и тетрадей. Анна Семеновна была очень молодая и совсем нестрогая. Ее золотистые волосы были собраны на затылке, но все время выбивались из узла и загибались возле ушей.

Она положила дневники и тетради на стол, поздоровалась, привычно поправила волосы, взяла из стопки верхнюю тетрадь, но не раскрыла ее, а подошла к подоконнику и посмотрела в окно. Покраснела, нахмурилась и сделала такой жест рукой, словно приказала кому-то стоящему внизу сейчас же уйти. Потом вернулась к столу и сказала:

— Во второй задаче почти все сделали ошибку.

Один Митя решил правильно. Митя, выйди к доске и объясни задачу.

Митя взял мел и стал объяснять. Эту задачу ему помог решить Глеб Сергеевич. Он часто занимался с Митей в свободное время, и потому Митя считался в классе лучшим по математике.

Его никто не слушал — кому интересно решать задачи в последний день перед каникулами? Да и Анна Семеновна была сегодня какая-то рассеянная. Она то и дело подходила к окну, а потом вдруг сказала:

— Ты пока объясняй, а я скоро вернусь. — И быстро вышла из класса.

Конечно, все сразу бросились к окнам. Митя положил мел и тоже подошел к окну.

В школьном саду, прислонясь спиной к стволу яблони, стоял знаменитый горнолыжник Коба Саникидзе. В саду было солнечно, и от деревьев падали косые тени. Коба уставился на окна их класса, а потом перевел взгляд на спешащую к нему Анну Семеновну и шагнул ей навстречу. Анна Семеновна стала что-то сердито ему говорить, а он прижимал руку к груди, как будто обещал, что больше не будет. И вообще он вел себя не как знаменитый на всю страну лыжник, а как ученик третьего класса.

Потом он ушел, уводя за собой по тропинке синюю тень, а учительница вернулась в класс, и уроки продолжались как обычно. Необычным было только то, что Анна Семеновна чему-то все время улыбалась, даже когда объясняла совсем не смешное: умножение трехзначных чисел.

В конце четвертого урока учительница раздала дневники и сказала:

— Сейчас, кто хочет, может пойти на соревнования. Директор разрешил. Но только в организованном порядке.

Ребята восторженно заорали, и Митя заорал — от радости, что пойдет с товарищами на Кохту смотреть

соревнования по слалому-гиганту. Правда, за ним могут приехать папа или дядя Вася, но они догадаются, что он на Кохте. Сегодня весь посёлок соберется там.

У подножия Кохты, по обеим сторонам трассы и в самом деле собрался весь поселок. Отдельными группами стояли отдыхающие в ярких, нарядных свитерах и куртках.

Сама Кохта была сегодня нарядной, праздничной — с флажками, зигзагами расставленными по всей трассе, с движущимися разноцветными кабинками подвесной канатной дороги. От яркого солнца снег на горе казался голубым, а там, куда падала тень от флажков, снег густо синел.

Когда всем классом они прибежали к горе, соревнования уже шли. Спортсмен несся вниз с вершины, плавно огибая флажки. Отчетливо было видно его напряженное, словно обтянутое ветром лицо. Номер на груди, широкие белые струи снега, взмывающие за лыжами. Вдруг, на секунду потеряв управление, он сбил один флажок — зрители сочувственно закричали.

Спортсмен достиг конца трассы и резко затормозил, снова подняв две широкие струи снежных брызг. Члены жюри, сидящие в том месте, откуда лучше всего была видна вся трасса, посоветовавшись, подняли большие листы с оценками. Зрители хлопали и свистели. А с вершины уже несся вниз следующий участник соревнования. У Мити сами собой сгибались и пружинили колени, туловище поворачивалось в такт поворотам лыжника — он знал это ощущение полета с горы, бьющего в лицо ветра, восторга, свободы. Он катался с гор там, у себя наверху, с Глебом Сергеевичем, с дядей Васей, с папой. Правда, отсюда, с вершины Кохты, ему еще ни разу не приходилось съезжать, но когда-нибудь и он съедет, не сбив ни одного флажка.

Анна Семеновна стояла возле пожилого загорелого человека в синей куртке-пуховке. Это был тренер Кобы, мастер спорта по горным лыжам Джемал Данелид-

зс. Он что-то объяснял учительнице, она кивала и смот-
рела на вершину горы, прикладывая ладонь козырьком
ко лбу и щурясь.

В публике пронеслось: «Коба, Коба!»

Маленькая фигурка на вершине горы рванулась вниз
почти отвесно, на миг показалось, вот сейчас она кос-
нется флажка, но в последнюю долю секунды лыжи
сделали широкий плавный полукруг, и флажок остался
позади, за ним — второй, третий, струи снега, выры-
вавшиеся из-под лыж при каждом вираже, были похо-
жи на взмахи белых крыльев, и сам Коба напоминал
птицу — стремительную и тонкокрылую.

Последний вираж, снова прямой спуск — и вот, об-
дав стоящих белой волной, Коба резко остановил лыжи
возле тренера и Анны Семеновны. Члены жюри подняли
оценки. Публика вопила и хлопала — оценки были вы-
сокие.

Коба обнял Анну Семеновну и поцеловал в щеку.
Анна Семеновна вырвалась и, покосившись на своих
учеников, стала смущенно поправлять волосы — запи-
хивать золотистые кудряшки под белую вязаную ша-
почку.

Снова летели с горы спортсмены. Митя забыл обо
всем на свете и вздрогнул, когда на его плечо легла
чья-то рука.

— Вот ты где, — сказал дядя Вася. — А я тебя
ищу. Ну что, домой поедем?

— Можно, я тут еще побуду? — умоляюще сказал
Митя. — Вы поезжайте, я потом своим ходом, я ведь
на лыжах.

— Да зачем? Кончаются соревнования.

— Я с ребятами поиграю.

— Ну смотри, — согласился дядя Вася. — Я тогда
успею в одно место съездить — гвозди мне обещали
и болты для сарая. А ты, как наиграешься, иди прямо
домой, и я подхвачу тебя на полпути, долго не задер-
жусь.

...Митя шел по улице с ребятами, спорил, кричал, обсуждал спортсменов, и больше всего на свете ему сейчас хотелось, чтобы этот путь, и крики, и смех, и долгожданное чувство объединения с друзьями подольше не кончались.

Он только на минуту забежал в школу — взять лыжи, а когда вышел, ребят как ветром сдуло. Они не стали его ждать, ушли. Ну да, они ведь привыкли к тому, что после уроков за ним приезжают на машине и увозят в горы. Он не стал их догонять. Взвалил на плечо лыжи и, ссутулившись, поплелся по улице. Когда улица сузилась, он сошел на обочину и надел лыжи. Солнце уже уходило за гору, краешек его светил в спину, впереди бежала синяя ломаная тень.

Кончились дома, и начался едва заметный подъем. Вот уже осталась позади звероферма с жирными воронами, все так же дремлющими на ветках дубов, с затоптанным грязным снегом перед воротами. Дорога сделала поворот, и за ним скрылись звероферма и дома поселка. Митя вернулся в необитаемый мир дороги, где за все то время, что он провел в поселке, ничего не изменилось. Вот двойной след его лыж, вот отпечатки собачьих лап. Горы, снег, столбики вдоль дороги — все было голубовато-белым, чистым и как будто струящимся.

Нет, что-то изменилось. Вот этих следов не было утром — с небольшим каблучком и ребристой узкой подошвой. Это, конечно, женские следы, но ни у мамы, ни у Гали-маленькой нет обуви, которая бы оставляла такие отпечатки. А рядом еще один, поменьше. И ведут они к ним на станцию, потому что выше их станции нет никакого жилья. Выше только горный перевал.

Митя присел на корточки, снял варежку и положил ладонь на маленький след. Он сам не знал, зачем это сделал. Просто вдруг почувствовал нежность к этому маленькому следу, направленному в сторону станции.

Потом поднялся и, уже не останавливаясь, пошел вверх по дороге.

На втором повороте он увидел две устало бредущие фигуры. У женщины в руке был клетчатый матерчатый чемодан, должно быть, тяжелый, потому что через каждые несколько шагов она останавливалась и перекладывала чемодан из одной руки в другую. А у фигурки поменьше за спиной был маленький, туго набитый рюкзак.

Когда Митя поравнялся с ними, женщина и девочка отдыхали, прислонившись к отвалу снега. Женщина прерывисто дышала. Митя смотрел на девочку. На вид ей казалось лет десять. Худенькое большеглазое личико обрамлял рыжий пушистый капор с развязанными тесемками, на концах которых болтались такие же рыжие пушистые помпоны.

— Здравствуйте, — сказал Митя.

— Здравствуй, — ответила женщина. — Ты на станции живешь?

Митя кивнул.

— Мальчик, ты быстро идешь, не мог бы ты попросить кого-нибудь из мужчин на станции, чтобы помогли нам вещи дотащить? — Она виновато улыбнулась. — А то мы очень устали.

— Я не устала, — сказала девочка.

— А там сейчас нет мужчин, — сказал Митя.

— Как? — удивилась женщина. — Вообще нет?

— Папа с Глебом Сергеевичем встречают инженеров, а дядя Вася поехал за гвоздями, — объяснил Митя.

— Но ведь я... Я и есть инженер! И я не понимаю... Я же просила не встречать!

— Мама! — сказала девочка. — Пойдем же! Я ужасно хочу есть.

— Пойдем, — ответила мать. — Сейчас, только отдышусь еще немного.

Митя вытащил из кармана забытый пакет с коржиками и протянул девочке.

— Что это? — с любопытством спросила она, заглядывая в пакет. — Ой! Печенье! Спасибо!

Издалека послышался нарастающий треск мотоцикла.

— Алеша, отойди в сторону — машина! — нервно предупредила женщина.

— Это дядя Вася, — сказал Митя. — Он вас довезет.

Дядя Вася выехал из-за поворота и заглушил мотор. Из коляски торчала веселая Джекова морда.

— О, к нам гости! — сказал дядя Вася. — Здравствуйте!

— Здравствуйте. Мы не в гости, — сказала женщина. — Я приехала на работу...

— Вот тебе раз! Вас же встречают.

— Но я же не знала! Ужасно глупо получилось. Ну просто захотелось пройтись пешком... Я как-то не думала, что этот подъем окажется таким крутым. Когда-то он мне казался почти пологим.

Джек выскочил из коляски, черным, мохнатым шариком завертелся на снегу и все подпрыгивал, пытаясь лизнуть Митю в лицо.

— Ой, какой смешной! — воскликнула девочка, грызя коржик. — А как его зовут?

— Джек.

— Джек, иди ко мне, Джек! А можно ему дать печенье? Я ужасно люблю собак. Вообще животных. А ты? У нас была такса Рафка, но мы перед отъездом отдали ее знакомым...

— У меня подруга живет в городе, — говорила женщина. — Мы с поезда — сразу к ней. А потом она посадила нас в пансионатский автобус... А уж от пансионата — вот идем...

— Ну ладно, чего теперь, — сказал дядя Вася. — Давай, дочка, лезь в коляску и туда же вещи. А мама — сзади. Что-то мало у вас вещей.

— Нет, вещей у нас много. Мы основную часть оставили на почте.

— Митя, ты, брат, не поместишься, — сказал дядя

Вася. — Придется тебе до конца на лыжах. Как ты? Ничего? Не устал?

Митя помотал головой.

— Ой, а можно и я с ним? — спросила девочка. — Я уже отдохнула. С удовольствием пройдусь.

— Не выдумывай, Алена, — сказала мать. — Сиди спокойно, не крутись, а то выпадешь.

— Тогда с собачкой! — сказала Алена. — Джек, иди ко мне!

Но Джек к ней не пошел — остался с Митей. Только смотрел на нее доброжелательно, помахивая хвостом.

Дядя Вася укрыл девочку овчинным полушубком, лежащим в ногах коляски, и оседлал мотоцикл.

— Крепче за кольцо держитесь, — сказал он женщине. Мотоцикл затрещал, пульнул бензиновым выхлопом и скрылся за поворотом, оставляя узкий след колес на снегу.

Митя медленно шел по собственному утреннему следу, иногда останавливался, и смотрел вокруг, и видел все как будто немножко по-другому. Знакомые белые горы, небо, ущелье, долина с крохотными домишками, обледеневший водопад, верхушки пихт, торчащие из-под снега, показались ему вдруг необыкновенно красивыми, словно он видел их в первый раз. У него немного кружилась голова от радости, но он тушил эту радость, не давал ей разгореться. Он боялся, что все обернется ошибкой, ведь не может так, сразу, вдруг исполниться то, о чем он так долго мечтал.

Эта девочка, Алена, в рыжем пушистом капоре с помпонами, появилась так неожиданно, словно пришла из сна, прилетела с Венеры. И могла, наверное, неожиданно исчезнуть, раствориться, улететь, как улетает сон. Он своей преждевременной радостью мог спугнуть ее.

Когда он добрался до станции, солнце ушло за гору, и из ущелий выползали сумерки. Звезды еще не за-

жглись, но круглая полупрозрачная луна уже выкатилась на небо.

Собаки — Дианка и Зорба — встретили его, как всегда, у последнего поворота и затрусили впереди. Джек втерся между ними, поворачивал морду то к Дианке, то к Зорбе, словно рассказывал им о событиях дня.

На крыльце «ничейного» дома стоял клетчатый чемодан и валялся маленький, туго набитый рюкзак. Из дома вышла Галя-маленькая. В одной руке у нее была тряпка, в другой ведро. Она расстелила тряпку перед дверью, а воду из ведра выплеснула на снег. У Гали-маленькой все лицо было в веснушках, несмотря на зиму. Волосы она перехватывала резинками с вишенками, и получались два задорных коротких хвостика. Ей очень подходило ее прозвище — Галя-маленькая, хотя прозвали ее так просто, чтобы не путать с Галей-большой, Митиной мамой.

— Они к вам обедать пошли, — сообщила она Мите, сбегая с крыльца. — А Глеб Сергеевич с дядей Сашей до сих пор не вернулись. Может, следующего поезда ждут? Ой, а какая интересная, да?

Митя пожал плечами.

— Ну, ты еще в этом не понимаешь. Очень интересная. А девчонка на нее совсем не похожа. Симпатичная, но совсем в другом роде. Ой, ну ладно, что это я с тобой!..

Она засмеялась и побежала по тропинке к своему дому.

Митя снял лыжи, поднялся на крыльцо, обмел веником снег с ботинок и вошел в дом. Дверь на кухню была открыта.

Девочка сидела на папином месте, у окна, а женщина — спиной к двери.

— Раздевайся, Митя, садись, — сказала мама, придвигая к столу табуретку. — Вот ты все горевал — товарища нет, поиграть не с кем, вот тебе и подружка.

Прямо, можно сказать, с неба свалилась. Так что радуйся, теперь будет с кем поиграть.

Мите стало стесненно, нехорошо, словно мама задела в его душе тихо-тихо звенящий колокольчик и он грубо звякнул. Митя почувствовал, что нельзя про мечту говорить так прямо, от этого она съеживается.

Он сел и, стесняясь поднять глаза на девочку, начал есть.

— Он диковатый у нас, — говорила мама, ероша ему волосы. — Мы сюда приехали — ему четырех не было. Так и вырос один, без детей. Поэтому и в школу так рвется. Ну, правда, учится хорошо. Отличник! — похвасталась она.

Колокольчик в Митиной душе болезненно дергался и звякал. Мите хотелось убежать, спрятаться от этой маминой словоохотливой откровенности, и он бы убежал, но тут издалека донесся натужный рев машины. Мама замолчала и прислушалась. Залаяли собаки:

— Ох, слава богу, наши вернулись! — сказала мама.

— Мы пойдем, — сказала женщина. — Спасибо вам большое за ужин, за все...

— Куда вы торопитесь? А чай? Сейчас в столовой накроем, все придут, организуем встречу. Для чего я пироги пекла?

Мимо окон прошел дядя Вася — в дизельную. Затарахтел движок, и над столом зажглась лампа под розовым абажуром. И сразу в комнате и за окнами наступил вечер.

Митя по звукам угадывал: вот папина машина въехала на территорию станции, теперь разворачивается — свет фар мазнул по окнам и исчез. Вот мотор заработал приглушенно, на холостых оборотах, хлопнула дверца, заскрипели ворота гаража. Сейчас папа поставит машину в гараж и войдет — большой, пропахший табаком, наполнит дом гулким кашлем, басом и смехом.

Но по ступенькам поднимался не папа, Митя по шагам определил — Глеб Сергеевич. Он постучал, спро-

сил негромко: «Можно?» Вошел и остановился на пороге кухни. Аленкина мама обернулась и встала. Аленка хмуро посмотрела на мать и перевела взгляд на Глеба Сергеевича.

Глеб Сергеевич сказал:

— Здравствуй, Ольга.

— Здравствуй, Глеб, — очень тихо ответила женщина. — Вот... Я вернулась.

И добавила еще тише, почти шепотом:

— Поздно?.. Да?..

— Ох, я и забыла! — всполошилась вдруг мама. — Пойдем, Митя, папу встретим. Пойдем скорее!

Она потащила его за руку в тамбур и, надевая валенки, бормотала удивленно:

— Ну надо же! Через столько лет! Вернулась! А Глеб-то Сергеевич!

Папа и дядя Вася вносили в «ничейный» дом вещи — сумки, лыжи, большие коробки. Галя-маленькая стояла у крыльца и смотрела.

— Вы чего это выскочили раздевшись? — спросил папа. — Я сейчас приду.

— Не ходи, у них там свой разговор, — сказала мама. — Им теперь не до нас.

— Почему? — спросил папа.

Мама поманила его, дядю Васю и Галю-маленькую и что-то им зашептала. У Гали-маленькой глаза стали огромными и восторженными.

— Я так и подумала! — сказала она. — Как увидела ее — сразу мысль мелькнула! Честное слово!

— Да уж ты у меня прямо телепат! — засмеялся дядя Вася. — Ну, коли так, пойдемте к нам.

— Мне в лабораторию, — сказал мама. — А то как бы сигнал не пропустить.

И она ушла на дежурство, а Митя с папой пошли к Гале-маленькой и дяде Васе. Пили чай с пирогами, и дядя Вася рассказывал о черно-бурых лисицах, которые чем-то отравились и едва не околели, но благода-

ря стараниям дядя Васи теперь здоровы. Дядя Вася работал ветеринаром и знал бесконечное множество историй про разных животных.

Вернулась с дежурства мама и сказала:

— Пойдем, сыночек, я тебя уложу. Ты совсем спишь.

Полная луна освещала белые снежные горы, ломаные линии вершин. А над головами, почти касаясь вершин, висели крупные, яркие звезды. Искрилась Венера.

Гостей уже не было, перемытая посуда стояла в сушилке. Митя разделся и лег. Мама потушила свет и ушла к Гале-маленькой и дяде Васе пить чай с пирогами.

Он приподнялся и раздвинул занавески на окне. В том месте, где еще сегодня, когда он проснулся, чернел силуэт «ничейного» дома, теперь горели уютным желтым светом квадраты двух окон, и в них мелькали тени. И от мысли, что эти живые, теплые тени теперь каждый вечер будут двигаться в освещенных окнах напротив и что там, за этими окнами, по утрам будет просыпаться девочка Алена и они вместе будут все каникулы, и потом, после каникул, будут каждый день вместе отправляться в школу, и возвращаться из школы, и делать уроки, и играть, и подкармливать белого зверька, и читать книжки, — Митя заплакал. Он раньше не думал, что от счастья можно плакать. Он просто не знал, что счастье бывает таким сильным, что от него даже становится больно.

## СТАРОЖИЛЫ ГОРОДА ТАСБУЛАТА

Двенадцатилетняя Люда помогает матери по кухне: чистит картошку и лук, рубит капусту, моет тарелки. Вот только открывать ножом консервные банки Люда еще не может — сил маловато. А так мама ею довольна.

Тетя Нина, мамина помощница, хоть и взрослая, и здоровая, а неуклюжая: то порежется, то разобьет

тарелку. Галина Петровна, Людина мама, только взгля-
нет сердито — ну что с нее возьмешь, с тети Нины:
она никогда поварихой не работала. Она даже уверяет,
что и на себя-то никогда не готовила, только Люда в
это не верит: сырыми продуктами, что ли, питалась?

— Дурочка ты, — усмехается тетя Нина. — Разве
похоже, что я впроголодь жила?

Нет, этого никак не скажешь. У тети Нины из-под
шелкового платья так и выпирают складки жира. Во-
лосы у тети Нины завитые и двухцветные: у корней
черные, а дальше — ярко-желтые. Брови тетя Нина
красит черным карандашиком. Люде хочется, чтобы у
нее были такие же черные брови, как у тети Нины. А то
что это — белесенькие, коротенькие, их и не заметишь
на лице.

...Почти целый день в столовой народ. Вечером бу-
ровики приходят играть в домино, в карты.

Красный уголок, правда, есть, но в столовой уютнее.
По-семейному как-то. Люде нравится слушать рассказы
буровиков.

Все бы хорошо, только вот подруги у нее нету.
Дома, в деревне, сколько было девчонок! С двумя
поссорится, а в запасе еще сколько хочешь. Не цени-
ла!.. Сюда бы хоть одну! Во всем бы соглашалась, всем
бы делилась — книжками, вышивками, — всем.

— Ничего! — утешает мать. — Еще понаедут. Это ж
молодой совсем город. Считай, с января шестьдесят
шестого здесь жизнь началась. А сейчас август. Восемь
месяцев! По человеку если судить — грудной еще. А тут
вот уже — хозяйство, людей человек триста — не мень-
ше. Да всё едут, да строят.

В Тасбулате пока что всего три одноэтажных ка-
менных барака — мужские общежития. Но уже зало-
жено четыре фундамента для шестиэтажных многокварт-
тирных домов. А пока семейные живут в вагончиках.
Десять вагончиков — десять семей.

Когда Людина семья сюда приехала, был заселен

всего один вагончик. В нем жил завхоз Яков Борисович со своей женой, тетей Маней. А теперь уже ни одного пустого, и завхоз собирается за следующей партией вагончиков, потому что к дяде Грише приехала жена, к дяде Коле — сразу и жена, и мать, и годовалая Ленка. Еще трое буровиков списались со своими женами, и те должны скоро приехать.

— А нам в новом доме квартиру дадут? — спрашивает Люда у матери.

— Еще бы не дадут! Отец как-никак старший буровой мастер. К тому же мы старожилы!

Мать Люды все не может привыкнуть к здешним местам. Сядет у окна, руки сложит на коленях и смотрит в серую степь, а глаза грустные-грустные.

Люда присаживается рядышком, и начинают они вспоминать Архангельскую свою область, дедушку, рыбалку, леса дремучие, корову свою Вишенку.

А потом мать вздохнет и скажет:

— А все же интересно здесь! Нет, правда! Вон верблюд идет, погляди, какой забавный. Сроду я верблюдов не видала... Ишь, губами шлепает, страшила! Видать, пить хочет... Пойду, дам ему ведерко...

С четырех утра и до одиннадцати вечера мать у плиты. Четыре дня они с тетей Ниной работают, потом четыре дня — другая смена.

На улице жара больше сорока градусов, а на кухне и того жарче: днем и ночью не гаснет огромная, в полкухни, сложенная из камней плита. К топке подведена труба, и из этой трубы льется и льется струйка солярки на гнутый лист металла. Тяга сильная, огонь так и гудит, плита за день так накаляется, что подойти боязно. А мать возле этой плиты шурует, один котел отодвинет, другой пододвинет, туда засыплет вермишель, сюда бухнет таз нарезанной картошки. Шипят и брызгаются сковородки: на одной жарится лук, на другой доходит соус.

Мяса нужно нарезать на сто пятьдесят порций.

Воду слить из бака с макаронами да промыть макароны, чтобы не слиплись. «А борщ-то готов, ну-ка, Нина, помоги снять котел с плиты, вот сюда поставим, ближе к раздаточному окошку. Ох, ну и тяжесть этот котел, сюда бы мужика в помощники!»

Да, матери достается. За день так умотается, что глаза западают, а вокруг них ложатся коричневые круги.

Мать сама и раздает, сама и деньги принимает, и посуду подчас моет — тетя Нина нерасторопная, ничего не успевает. Об официантке или кассирше приходится только мечтать — людей не хватает.

Вот Люда и помогает матери. Галина Петровна не нарадуется:

— Гляди-ка, так и специальность получишь. Настроят тут ресторанов, кафе. Будешь шеф-поваром. А то и директором ресторана.

Ну что ж, Люда не против. Ей нравится быть поварихой. Вон с каким уважением буровики к матери относятся! Всякие среди них попадаются, бывает, прямо при своих женах матерятся. А в столовой — никогда. Тихие, вежливые. Это мама так их воспитала. Она хозяйка столовой. Ее все слушаются.

В восемь утра завтракает утренняя смена и уезжает на буровые. В девять возвращается с буровых ночная смена, люди усталые, в забрызганных раствором робах. Садятся на самодельные табуретки, за самодельные столы, покрытые голубыми клеенками. Едят борщ горячий, гречневую кашу, гуляш, пьют чай из пол-литровых банок — кружек в столовую не завезли. В девять утра уже жарища, да такая, что горячая пища в горло не лезет.

Люда кивает на кувшины:

— Мама, можно?

— Ой, доченька, а я и забыла. Беги, принеси!

И Люда с двумя большими синими кувшинами несется к холодильнику. Она открывает тяжелую дверь

рефрижератора, и ее охватывает прохлада. Так бы и не вылезала из этой комнаты, где с потолка свисают ободранные бараньи туши, в углу гора капусты — не очень, правда, свежей, сверху подгнивает, но все-таки лучше, чем консервированная, — мешки с картошкой, а посредине бак с водой. Вода холодная, с вечера залита.

Люда наполняет кувшины и выходит из холодильника. Щелкает запор. Синие кувшины тут же запотевают. Люда не выдерживает, пьет прямо из кувшина, а потом несет в столовую и ставит их на столы перед буровиками.

— Вот спасибо, дочка! — кричат буровики. — Умница, Люда!

В половине одиннадцатого завтрак окончен, посуда перемыта. А мать уже заливает котлы — пора готовить обед. Опять втроем рубят капусту, режут мясо. Люда нет-нет да и бросит потихоньку кусочек мяса Мурке. У Мурки мордочка худая, а бока раздуты: скоро у нее котята будут. Люда ждет не дождется котеночка. Дяди Гришина жена, которая привезла с собой Мурку, обещала Люде котенка.

— Мама, скоро Мурка окотится?

— Ага, должно, не сегодня-завтра. Вишь, ходит, углы обнюхивает: укромное место ищет.

Тетя Нина неумело орудует ножом и рассказывает:

— Муж у меня был заведующий фруктовым ларьком в Ставрополе. А я у него кассиршей работала. Хорошо жили! У нас фрукты не переводились. Всегда под кроватью полный ящик стоял. Ночью проснешься, руку запустишь — и ешь не хочу. Обеды мы в лучшем ресторане брали. Чтобы готовить — этого я и знать не знала.

Видно, с мужем тети Нины случилась какая-то неприятность, потому что его посадили, а тете Нине пришлось срочно завербоваться сюда, на Мангышлак. Теперь у нее другой муж, дядя Жора, невзрачный, лы-

сенький. Работает на тасбулатской подстанции и часто приходит на кухню.

Тетя Нина неуважительно называет его Жоркой и внушает:

— Знай свое место! Не забывай, кто ты есть и кем я была! — И со вздохом добавляет: — Дура я была!

Котлы засыпаны, мясо варится, теперь можно и передохнуть часок. Люда с мамой вымыли пол в столовой, тетя Нина принесла одеяла. Положили одеяла прямо на непросохший пол и улеглись. Окна широко распахнуты, сквознячок гуляет — хорошо! А в вагончик днем не войдешь — духотища! Люда все-таки сбегала, принесла книжку «Сын рыбака». Уже больше половины прочитала.

За этой книжкой — очередь. Люда здесь вроде библиотекаря: она привезла с собой из деревни целую связку книг.

Кроме учебников, «Анна Каренина», «Страница любви», «Ребята и зверята», «И один в поле воин», «Магелланово облако». Она твердо помнит, у кого из буровиков какая книга, и следит, чтобы не затеряли, не пачкали страниц, чтобы, как прочтут, без задержки передавали другим.

Посидела у окошка, помечтала. Вот была бы рядом подружка, вслух бы друг другу читали, и обсуждали, и секреты бы друг другу рассказывали. А то, когда одна, то и секретов-то нету.

Малышам весело — их тут целая ватага: три мальца и девочка — босые, белоголовые, загорелые. У Кольки, пятилетнего Людиного братишки, игрушечный заводной мотороллер, ярко-красный. Как цветок на серо-белой земляной корке. Единственное яркое пятно во всем поселке. Остальное все бело-серое: бараки обмазаны белой известью, но уже успели покрыться налетом серой пыли. Между вагончиками несколько некрашеных серых скамеек образуют «аллею». В аллее этой — ни одного деревца, ни прутика зеленого. Люда уже при-

выкла к такому пейзажу, а вначале от этого постоянного, сверкающего под солнцем серого цвета глаза болели и тоскливо становилось на душе.

А малыши, наверное, забыли уже, что существуют на свете леса, реки, трава, цветы. Носятся в пыли, визжат, рады до смерти новой игрушке — Колькиному красному мотороллеру. Это ему папа привез из Жетыбая.

Тихонько скрипнула дверь, и вошла Наташа, уборщица общежития. Спросила робко:

— Отдыхаете? Я думала, у вас водичка есть холодная.

— А как же, есть, — сказала Галина Петровна. — Сходи, Людок, принеси.

Люда схватила пустой синий кувшин — и бегом к рефрижератору. Постояла в холодке, ледяной водички напилась. Вот изобрели же люди чудо такое — холодильник, большой, как комната. Еще вот бы что изобрести: чтобы в вагончиках было так же прохладно, как здесь. А то мама за день у плиты нажарится, а ночью от духоты спать не может. И то ночью еще ничего, стенки вагончика остывают. А папа часто в ночную смену работает, днем отсыпается. Ну где уж тут отоспаться — одно мучение. Он и в мокрую простыню заворачивается, и пол водой обливает — все равно дышать нечем.

Люда вернулась в столовую, подала Наташе кувшин. Наташа жадно напилась, потом слила немного водички в ладонь, ополоснула лицо.

— Да не убивайся ты! — сказала Галина Петровна. — Ну, мало ли что в жизни случается. Тебе еще и двадцати нет. Думаешь, у меня все гладко было?

Наташа сидела на табуретке, расставив ноги. Ситцевое коротенькое платье поднялось выше колен, туго обтянуло живот.

— Мне же скоро родить! — сказала Наташа и всхлипнула. — Если бы не это, наплевала бы я на все.

Подалась бы куда угодно. А теперь куда! У меня же родных никого. Как он меня, подлец, уговаривал! Чем мне плохо было в Ростове? Общежитие, работа чистая в комбинате бытового обслуживания, комнату профсоюз обещал. Он ведь меня чем соблазнил? Новый город, говорит, самое начало, заработки высокие, народ молодой, дружный. Ну, климат тяжелый, так этим меня не запугаешь, я здоровая, а главное, я ж любила его!..

Наташа уронила голову и зарыдала. Ее пепельные волосы разметались по плечам.

— Э, девка, не плачь! — сказала тетя Нина. — Мужиков тут навалом, скучать не дадут! Еще рада будешь, что сбежал твой Вовка!

— Будет тебе, Нина, — прервала Галина Петровна. — На свой аршин не меряй. Она девка скромная, тихая. Не надо, Наталка, не надо! Не пропадешь! Найдешь себе хорошего человека, серьезного. Не все ж такие подлые. Ты лучше подумай: родишь скоро, и будет твой малыш первенец Тасбулата! Честь!

— Обошлась бы я без этой чести, — тихо сказала Наташа, вытирая слезы и сморкаясь. — Не успел еще родиться, а уж несчастный...

— А вот это зря ты, зря! — уговаривала Галина Петровна. — Счастье — дело наживное. И тебя хоть взять: сегодня ты горюешь — завтра радоваться будешь. Правда!

— Ох, ну ладно, — тяжело поднялась Наташа. — Еще попью впрок и пойду: мужики с буровой вернутся, а у меня там не подметено. Излила душу — и то легче.

Тетя Нина заперла за Наташей дверь на засов, снова улеглась на одеяло и через пять минут захрапела.

Люда тоже прилегла, положив голову матери на живот. Стала было задремывать, но вдруг — резкий стук в дверь. Тетя Нина подавилась храпом, чертыхнулась.

— Кого еще несет? — недовольно спросила Галина Петровна. — Закрыта столовая!

— Откройте! Завхоз! — сердито раздалось из-за двери.

— Ох! — вскочила Галина Петровна. — Сейчас, Яков Борисович! Людка, убери одеяло!

Завхоз — приземистый, наголо бритый, под шелковой навыпуск рубахой брюшко.

Галина Петровна обмахнула фартуком табуретку.

— Садитесь, Яков Борисович!

Завхоз молча подошел к раздаточному окошку, над которым висело меню. Прочитал, а потом сварливым голосом осведомился:

— Почему нет оладий?

— Так ведь муки нет, Яков Борисович!

— Как это нет муки? — изумился завхоз. — Как это нет муки, когда пять дней тому назад я привез семьдесят пять кило?

— Семейные расхватали, Яков Борисович! — оправдывалась Галина Петровна. — Набросились — по восемь, по десять кило брали.

— Кто вам разрешил продавать муку?

Галина Петровна виновато молчала. Завхоз ходил взад-вперед по столовой и распекал маму:

— Не имеете права за счет бессемейных кормить оладьями семейных. Бессемейные любят оладьи не меньше, чем семейные! Оладьи в столовой должны быть всегда! Что касается семейных, пусть они составят список необходимых продуктов, и мы по мере сил постараемся удовлетворить их требования.

Люда исподлобья смотрела на завхоза. Какое он имеет право ругать маму? Что, мама себе, что ли, взяла эту муку? Им и не досталось ни горсточки.

Завхоз остановился возле стола, за которым сидела Люда, оперся руками о стол, и Люда увидела на руке его, пониже локтя, странную наколку: пятизначная цифра 72262.

Вот интересно, для чего было делать такую наколку? У папы на руке, например, целая картина: орел держит

в когтях женщину. А на груди у папы тоже наколота женщина, вокруг которой обвилась змея. Вообще у многих буровиков наколки. Иногда рисунки, иногда надписи: «Не забуду мать родную», «Нет в жизни счастья»... Это понятно. А цифры-то зачем?

Завхоз направился к дверям, ворча:

— Если еще раз узнаю о продаже общественной муки семейным, строго накажу! В столовой должны быть не только оладьи, но и пирожки! Да, да, я знаю, что нет дрожжей, но пирожки можно делать и без дрожжей!

— Хорошо, Яков Борисович! — кивала мама. — Учту, Яков Борисович.

— Мама, — спросила Люда, когда дверь за завхозом закрылась, — почему это у него цифры выколоты на руке?

— Он в немецком концлагере сидел, доченька, — ответила мать.

— А что это такое?

Галина Петровна помолчала немного и махнула рукой:

— Ты лучше книжки свои про любовь читай. А про это рано тебе еще.

— Ну, расскажи, мама, ну, мама!..

Но Галина Петровна занялась борщом.

Просигналила машина. Люда взглянула в окошко и радостно вскрикнула:

— Саша Алимов приехал, воду привез!

Бассейн — под самыми окнами столовой. Саша поднял деревянную крышку, опустил вниз шланг, и вода с плеском хлынула в бассейн.

Саша стоял рядом, руки в боки, полуобнаженный, мускулистый, ладный. Глаза узковатые, темные; посмотрит — на Люду такое смущение нападает, хоть убегай. Вечерами он часто приходит в столовую посидеть, поболтать. Такие интересные истории рассказывает — заслушаешься.

Как всегда, наполнит бассейн водой и придет в сто-

ловую обедать. Люда подбежала к плите — матери не было рядом, — пальцем сняла с котла немного сажи и у маленького зеркальца раз-раз — провела пальцем по белесым своим бровям. Лицо сразу изменилось, повзрослело.

Она дождалась, пока Саша вошел в столовую, поздоровался, сел за стол, и только тогда появилась на пороге.

— Ого! — сказал Саша. — Это что же за невесту чернобровую к нам прислали?

Люда потупилась и хихикнула. Галина Петровна обернулась и всплеснула руками:

— Что это ты придумала, паршивка такая? Вы посмотрите на эту бесстыдницу — брови намалевала! Вот я тебе сейчас по заднице!

Подлетела, мокрой тряпкой оттерла Людину красоту, а потом отшлепала как маленькую! Как Кольку пятилетнего! При Саше!

Люда пулей вылетела из столовой. Позорище! Как теперь смотреть на Сашу!

Она убежала в степь. Голову припекало без косынки. Растравляла себя: вот бы каракурт укусил, тогда бы мать поплакала!..

Месяц назад каракурт укусил Павлика Агапова, четырехлетнего мальца. Все машины были в разъезде. Только к вечеру приехал Саша Алимов, привез воду. Выругал плачущую мать за то, что не прижгла сразу же ранку. Он даже не стал сливать воду в бассейн, посадил мать с сыном в кабину и погнал машину в Жетыбай. Павлик промучился в больнице целую неделю и умер.

Когда случилось это несчастье, мать Павлика уехала на родину, а с нею еще две семьи. Галина Петровна тоже хотела уехать — боялась за детей. Но отец, старший буровой мастер, уехать не мог. И теперь Люде не разрешали уходить в степь. Она убегала потихоньку.

Степи она не боялась. Знала, что каракурт вьет свою

густую, как гнездо, паутину в редких сухих кустиках, и аккуратно обходила их.

Она знала, что к скорпиону можно подойти, он первый никогда не бросится, только если до него дотронешься. А от фаланги лучше удрать поскорее — фаланга может и прыгнуть. В змей Люда швыряла комья земли, и змеи уползали. А вот крупные полосатые ящерицы, хамелеоны, безобидны, хоть и шипят, угрожающе разевая беззубые лягушачьи пасти.

Люда ловила хамелеонов и прикладывала их к платью. Они тотчас меняли цвет.

Люда уходила в степь все дальше и дальше. Уже километра полтора отделяло ее от поселка. Три белых барака становились все меньше, но не исчезали за горизонтом, потому что степь была очень ровная.

Люда знала, что там, за горизонтом, на пути к Жетыбаю, есть и еще города. Она видела их — отец возил ее однажды на машине в Жетыбай. Бело-розовые каменные дома возвышались над степью. Подъемные краны тянули вверх свои длинные шеи. Это были совсем молодые города, но Тасбулат среди них — самый молодой. В тех городах было куда больше народа, и, возможно, туда понаехало много Людиных сверстников и сверстниц. И все же Люда не променяла бы свой Тасбулат ни на один из тех красивых городов. Тасбулат рос на ее глазах. Он стал почти так же неотделим от нее, как мама, папа или Колька.

Люда решила дойти до буровой, на которой вот уже с месяц как прекратили работу.

Когда бурили скважину, Люда часто сюда приходила, смотрела, как работает бригада отца. Но с тех пор как скважину пробурили, а вышку разобрали и увезли, Люда сюда не заглядывала.

Она издали увидела горы развороченной земли, глубокие борозды, трубы, брошенные цистерны на том месте, где еще недавно высилась башня, на которую Люда любила забираться.

Она подумала, не повернуть ли назад, — уж очень пекло солнце, и было душно, — но вдруг увидела, что к скважине подъезжают автобусы. Не жетыбайские автобусы: они ехали со стороны побережья.

Один автобус ярко-красный, другой наполовину синий, наполовину желтый. Оба остановились у скважины. За ними ехали еще машины — не то бензовоз, не то водовозка, потом бортовая и какие-то еще непонятного назначения — здоровенные машины. Они мягко переваливались, их то и дело застилало пылью. У скважины остановились, и из них вышли люди.

Когда Люда заглянула в раскрытые задние дверцы автобусов, она увидела, что там не было сидений, а вместо них была установлена какая-то аппаратура. На Люду никто не обращал внимания, и она с интересом смотрела, как устанавливают возле скважины блок, как тянут от автобуса к грузовику с флажками синие провода.

Из красного автобуса двое парней вытаскивали раскладушки, спальные мешки, большие бумажные пакеты.

Подъехала еще одна машина, «газик». Из нее вышел дядька в очках и — Люда глазам своим не поверила — девочка! Черненькая, стриженая, как мальчик, в синеньких шортиках, в ярко-желтой вышитой маечке.

Люда стояла и смотрела, как девочка вытащила из сумки фляжку, намочила носовой платок и вытерла пыльное лицо и шею. Потом вынула из кармана шорт темные очки и надела их. Лет ей было, наверное, столько же, сколько Люде.

— Папа, куда мне теперь? — спросила девочка у очкастого дядьки.

— Возьми раскладушку и садись в тенек, — ответил дядька.

— А я хочу посмотреть! — сказала девочка.

— Мы еще не скоро начнем. Отдохни пока.

Девочка пошла к той машине, возле которой были сложены раскладушки. Люда за ней.

Войдя в тень от машины, девочка села на свернутый спальный мешок. Люда остановилась перед ней. Это была первая девочка ее возраста, которую видела Люда с тех пор, как сюда приехала.

Люду переполняли радость, внезапная любовь к этой девочке, такой хорошенькой и нарядной. Ей хотелось сразу же, не теряя ни минуты, начать с ней дружить — ведь девочка могла исчезнуть так же внезапно, как и появилась. Но существовали правила знакомства, и было бы невежливо сразу предлагать дружбу. Люда уже открыла было рот, чтобы поздороваться, но та заговорила первая.

— Ты местная?

— Местная! — радостно подтвердила Люда и кивнула в сторону трех белых домиков, — с Тасбулата. Меня Люда зовут, а тебя?

— Таня.

Люда была не из застенчивых, а тут на нее непонятно почему робость напала. В голове роились десятки вопросов, а она стояла и молчала. Ждала, когда заговорит Таня. Сразу видно — городская девочка, культурная. Еще ляпнешь что-нибудь не то.

— Ты в каком классе учишься? — спросила Таня.

— В пятый пойду. Мне вообще-то в шестой полагается с осени идти. Да я с января в школу не хожу — переезжали, устраивались на новом месте. А ты?

— Ну, я-то в шестой перешла, — ответила девочка таким тоном, словно это была ее заслуга, что она никуда не переезжала и не устраивалась. — Что же, у вас там, и школа есть, в этом вашем... как его... Тасбулате?

— Нет! — воскликнула Люда. Она так радовалась наладившемуся разговору, что не хотела замечать поток превосходства в тоне девочки. — Школы у нас пока нету. Я в Жетыбай поеду, там интернат. Десятилетка. А ты сама из какого города?

— Из Москвы, — ответила Таня.

— Из Москвы! — восхитилась Люда. — Надолго приехала?

— На неделю, в командировку. Мой папа — главный геофизик экспедиции. Мы проверяем работу партий. А твой папа кто? Буровик, наверно?

— Ну! — подтвердила Люда. — Он сейчас на семьдесят третьей скважине работает. Во-о-он буровая, видишь?

Подошел Танин отец, кивнул Люде и сказал:

— Я вижу, ты тут, дочка, не скучаешь. Вот, держите-ка!

Он протянул девочкам два помидора. Таня взяла, а Люда замотала головой:

— Ой, что вы, сами кушайте!

— Держи, держи! — сказал Танин папа.

— Да что вы, спасибо, не надо! — засмущалась Люда.

Таня прикрикнула:

— Что ты как деревенщина! Дают — бери! Ведь хочешь, по глазам видно!

Танин папа вложил в Людину ладонь мягкий, спелый помидор и ушел.

Люда опустила руку с помидором и с упреком взглянула на Таню. Ее не обидело, что Таня назвала ее деревенщиной, а резанула вот эта фраза: «По глазам видно, что хочешь!» Конечно, Люда отказывалась не потому, что не хотела, а потому что знала, какую ценность в этих местах представляет свежий помидор. В Тасбулат овощи завозили редко, раза три или четыре за все время. Она уже и вкус помидора забыла. А тут ей, незнакомой девочке, ни за что ни про что предлагают помидор. Не могла она так вот просто взять его.

— Что ж ты не ешь? — спросила Таня.

— Я брату отнесу.

— Ах, у тебя еще брат есть! Большой?

— Пять лет. А у тебя есть брат? Или сестренка?

— Нет, — с оттенком гордости сказала Таня. — Я единственная.

Люда сочувственно кивнула.

Таня все чаще поглядывала по сторонам. Неожиданная встреча только на короткое время заинтересовала ее, а потом интерес иссяк. Было жарко, хотелось пить. Пахло пылью и бензином, и от всего этого в Тане назревало раздражение. Откуда взялась эта белобрысая девчонка в коротеньком платьице? Стоит перед ней с помидором в руке, переминаясь с ноги на ногу. И чего хочет?

Люда с тоской чувствовала, что ее долгожданной подруге разговор становится скучен. Но ей трудно было в это поверить.

— Тебе здесь... не нравится? — спросила она у Тани.

— А что тут может нравиться? — ответила Таня. — Жара и никаких удобств. Скорее бы в Москву.

— Да, конечно, — сказала Люда. — После Москвы наш город тебе совсем маленьким кажется.

— Какой город?

— Тасбулат.

— Го-ород? — насмешливо протянула Таня. — Вот эти три хибары?

— Он же еще молодой! — объяснила Люда. — Только началось строительство! Там будет много домов, уже вырыли четыре котлована!

— Ой, не могу! — Таня фыркнула. — Четыре котлована. Город!

Люде вдруг стало ясно, что не выйдет у них с Таней дружбы. Девочка, с которой она мечтала подружиться, ни за что не стала бы смеяться над Тасбулатом.

— Это город! — повторила Люда.

— Жалкий поселочек! Временный населенный пункт! — с какой-то непонятной радостью выкрикнула Таня. — Он существует, пока буровые работы идут! А потом его снесут! Мне папа сказал, а он как-нибудь лучше тебя знает! Снесут твой город! Снесут!..

— Молчи, гадина! — закричала Люда.

Она размахнулась и швырнула помидор прямо в Танино лицо. Помидор смачно ударился о Танин лоб, треснул, и бурая жижа потекла по носу, по ярко-желтой маечке.

Люда резко повернулась и бросилась в степь. Она бежала, не чувствуя ни жары, ни пыли, не думая о том, что может наступить на ядовитого паука. Слезы застилали ее глаза. Она устала, больше бежать не могла и пошла шагом. Стучало в висках, а сердце сжимала огромная, давящая обида. Последние полкилометра Люда еле брела, то и дело останавливаясь, чтобы передохнуть.

Наконец она поравнялась с первым бараком. Прижалась к нему, ощущая живое тепло его нагретых камней. Постояла так несколько минут, проникаясь крепостью, надежностью этой стены. Потом пошла на кухню.

— Ты где бегаешь? — встретила ее мама. — Иди скорее в чулан. Мурка-то окотилась!

Люда ахнула и кинулась в чулан. Там на тряпках лежала тощая Мурка, а возле нее копошились четыре крохотных комочка. Люда взвизгнула от радости.

— Милые мои, жалкие! Ой, мамочка, один черненький, я себе его возьму!

— Ладно, ты только не трогай их, не мни, — сказала Галина Петровна. — Дай Мурке водички. После этого пить всегда хочется.

В чулан заглядывали женщины.

— Без кошки дом не дом! — сказала тетя Маня, жена завхоза. — Я вон того пестренького возьму.

— Нет уж, тетя Маня, за пестренького я первая сказала! — возразила тетя Клава, жена буровика. — А ты вон дымчатого бери.

— Дымчатый — мой! — крикнула уборщица Наташа. — Дымчатого никому не отдам!

— Тетя Маня, — тихонько окликнула Люда, —

тя Маня, наш Тасбулат — город или временный населенный пункт?

Но тетя Маня, должно быть, не поняла Людиного вопроса, потому что она кивнула на ссорящихся из-за нотят женщин и ответила невпопад:

— А ты что, сама, что ли, не видишь?

## ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ

В маленьком зрительном зале театрального училища идет защита диссертации. Пасмурный дневной свет глядит сквозь незашторенные, давно не мытые окна. Торжественно и скучно. На сцене за длинным столом, покрытым зеленой бахромчатой скатертью, похожей на попону, клюют носами комиссия. В зале — десятка три слушателей.

Защищается старший преподаватель училища М. К. Беспалова, моложавая женщина в строгом темном платье, подчеркивающем осанку и спортивность фигуры. Речь идет о выразительных средствах современной режиссуры.

Сквозь полуоткрытую дверь доносится дробь чечетки, молодецкий топот и посвист. Это у первокурсников проходит урок народного танца. И хотя звуки порой становятся слишком громкими и даже заглушают слова соискательницы, никто из сидящих почему-то не торопится прикрыть дверь, а, наоборот, прислушиваются с видимым удовольствием.

Вопросов к докладчице ни у кого нет. Элегантный завкафедрой — первый оппонент — встает и читает по бумажке нечто медлительно-нескончаемое, так что даже у ближайших друзей и родственников диссертантки лица начинают подергиваться судорогой скрытой зевоты. Ругает он или хвалит — понять трудно, и только в конце, когда он поздравляет соискательницу с проделанной «большой и серьезной работой», все догадываются, что хвалит, и облегченно аплодируют. Второй оп-

понент — дама-профессор, сказала две-три вяло-одо
брительные фразы о диссертации и от этой явно нейт
тересной для нее темы перешла к другой — принялас
темпераментно высказывать, как видно, давно накипев
шее: о беспорядках в училище. Закончив, она опускается
на место, обмахиваясь платочком и победительно гляд
в пятый ряд, где сидит благодушный ректор училища

Диссертантка благодарит комиссию, оппонентов
всех собравшихся. Очнувшийся от дремоты председа
тель комиссии объявляет заседание оконченным.

В тесном фойе Марию Константиновну Беспалову об
ступают поздравляющие. Ей преподносят розы и гвоз
дики в шуршащих прозрачных обертках. Мама, папа
сын-десятиклассник скромной стайкой держатся в сто
ронке и поглядывают на Марию Константиновну с чув
ством сопричастности к ее успеху. Старшая сестра
муж сестры обнимают ее, кося при этом глазами на пре
подавателей училища, про которых завтра, у себя на ра
боте будут подробно рассказывать сослуживцам, пото
му что не каждый день доводится увидеть не на сцене
а вот так, рядом, известных артистов драмтеатра и т
атра музыкальной комедии.

Старая актриса в черном с проседью парике под
ходит к Марии Константиновне, целует ее и говорит хо
рошо поставленным голосом:

— Просто нет слов! Нет слов!

— Спасибо, Маргарита Павловна.

— Просто очень, очень, очень! — доброжелательн
вторит хор друзей.

— А где Крылов?

— Сказал, что заболел.

— Вот как? Он сегодня выгуливал во дворе собак

— А почему Алиханов не пришел?

— Не пришел — и все! Как вам это нравится?
Мария Константиновна не хочет сейчас думать об

всех этих мел
ствительно бо
у человека т
это легко —
когда семья,
росток растет
го трудностям
Нет, Мари
Со стороны
боты — не в
лище в после
молодые реж
ваторами. Да
интересных, х
Джульетта» и
тиновны, неуд
ективных при
ей просто меш
жить, идет ме
дня они прои
шли. Теперь
прибавится зв
Сразу посл
ва поздравля
вали «истинны
каться и целов
«которые прои
Мама и папа
восторженным
ла чудом сове
жал на трени
отнимающее у
И все-таки,
шутливые тост
вал настроение
несколько пуст
кого она особе

всех этих мелких училищных делах. Сегодня у нее действительно большой день. Таких дней, может, и бывает у человека три-четыре за всю жизнь. Кто скажет, что это легко — защитить кандидатскую в сорок три года, когда семья, старые и больные папа и мама, сын-подросток растет без отца со всеми вытекающими из этого трудностями.

Нет, Мария Константиновна заслужила этот день. Со стороны незаметно, а сколько было проделано работы — не всякий бы выдержал. А обстановка в училище в последние годы? Эти двое, Крылов и Алиханов, молодые режиссеры-преподаватели, возомнили себя новаторами. Да, у них есть козыри — два действительно интересных, хотя и спорных спектакля — «Ромео и Джульетта» и «Старший сын». Ее же, Марии Константиновны, неудача с «Бесприданницей» имела ряд объективных причин, и одной из них была как раз та, что ей просто мешали работать эти двое. Они хотят ее выжить, идет мелкая травля, закулисная возня. Но сегодня они проиграли. Они это поняли, потому и не пришли. Теперь к ее должности старшего преподавателя прибавится звание, так что посмотрим, кто кого.

Сразу после защиты поехали в ресторан и там снова поздравляли, говорили всякие добрые слова, называли «истинным человеком искусства», подходили чокаться и целоваться. Поднимали тосты за маму и папу, «которые произвели на свет такое чудо совершенства». Мама и папа смотрели на дочь такими влюбленными, восторженными глазами, словно она и в самом деле была чудом совершенства. Сына на банкете не было, убежал на тренировку по самбо — новое его увлечение, отнимающее уйму времени.

И все-таки, несмотря на сердечность обстановки и шутливые тосты, какой-то червячок сомнения подтачивал настроение Марии Константиновны. Ее раздражало несколько пустых приборов — не пришли именно те, кого она особенно хотела видеть на сегодняшнем бан-

кето. Не смогли или не захотели? А те, кто пришел, и поздравляют, и говорят шутливо-торжественные слова, наверняка отмечают про себя отсутствие этих гостей и, возможно, делают для себя кое-какие выводы.

Но в общем банкет удался и прекрасно завершился неожиданным появлением одного из тех, кого она уж и не надеялась сегодня увидеть. Главный режиссер ТЮЗа только что вернулся из Москвы и, узнав о «блестящей защите», примчался сюда, чтобы поздравить и расцеловать «нашу очаровательную, прелестную виновницу торжества, любимицу студентов и преподавателей...».

За столом в этот момент кто-то засмеялся, Мария Константиновна невольно напряглась и обернулась. Но смех был тотчас заглушен аплодисментами и звоном бокалов и почти никем не был замечен.

Когда все наконец кончилось и приглашенные, отулыбавшись, разошлись, Мария Константиновна почувствовала невыносимую усталость от всех этих поздравлений, от собственных попыток каждую вскользь брошенную фразу истолковать в обидном для себя смысле, от улыбок и поцелуев. При одной мысли, что надо еще кому-то улыбаться, еще с кем-то бодро шутить, притворяться радостно-возбужденной, ей стало тошно.

Город еще не спал, светились витрины, в молодой листве могучих лип прятались и мерцали шары фонарей, и в их приглушенном свете улица старинного города казалась молодой и оживленной.

До дома возле вокзала, где Мария Константиновна в прошлом году получила новую трехкомнатную квартиру, доехали на машине сестры, недавно вернувшейся с мужем из Ирака.

Мария Константиновна расслабилась, ей не хотелось вылезать из машины — вот так бы и ехать, уткнув лицо в букет прохладных гвоздик, чувствуя, как обмякают напряженные мышцы лица. Она знала, что сейчас у нее старое, усталое лицо с вялыми мешочками под

глазами, с опущенными уголками губ, с некрасивыми складками возле подбородка и что полустертая поздравительными поцелуями косметика не только не скрывает, а, наоборот, подчеркивает складки, морщинки, мешочки — всю эту ночную утомленность на лице сорокатрехлетней женщины. Подобную расслабленность она себе редко позволяла, разве что в такие вот минуты, когда никто ее не видит. Остатки возбуждения и приподнятости за время, пока она ехала домой, словно бы скисли и превратились в какую-то внутреннюю неприятную дрожь, которая при малейшем поводе могла вылиться в раздражение. Папа и мама в ней это свойство знали и поэтому ее не трогали, ни о чем не спрашивали. Опасливо молчали, чтобы не дать повода к вспышке, и эта их деликатность ее сейчас почему-то тоже раздражала.

...Сестра с мужем уехали к себе, на Купеческую, Мария Константиновна, все еще пряча лицо в букет, но, уже подобрав лицевые мышцы — дом был актерским, долго не засыпал, и можно было столкнуться с кем-нибудь из соседей, — подошла к лифту, нажала кнопку вызова. Поднялись на пятый этаж.

Папа помог маме снять пальто и аккуратно повесил его в стенной шкаф на плечики. Оба молча просеменили на кухню. Мама, робко звякнув крышкой кастрюльки, налила в чашки ежевечерний лечебный отвар, и старики, морщась, стали пить его маленькими глотками. Мама тихонько делилась с папой планами на завтра — она вызвала из фирмы женщину для мытья окон и просила помочь ей утром — снять с подоконников горшки с цветами.

Этот тихий домашний разговор, мирное звяканье посуды размягчили Марию Константиновну. Она сняла сапоги и надела шлепанцы. Хотелось поскорее принять душ, лечь и забыть все тревоги и волнения сегодняшнего дня, думать только о приятном. Об удачной, в общем, защите. О том, что трехлетняя кропотливая ра-

бота завершена наконец. О том, что с поступлением сына в училище на актерский вроде сложностей не должно быть. У мальчика хорошие внешние данные. Она уже говорила с ректором и с членами приемной комиссии. Да она и сама член приемной комиссии. Конечно, всякие могут быть случайности...

Сын спал. На стуле аккуратно висело белое кимоно-куртка. Учебники и тетради валялись на столе.

Мария Константиновна вздохнула и пошла в свою комнату. Зажгла над тахтой ночник под самодельным розовым, отделанным кружевом абажуром, села и тут же увидела на круглом столике, рядом с телефоном, записку. Еще не прочитав ее, уже почему-то знала: сейчас рухнет наконец-то обретенный душевный настрой. Мелькнула мысль: может, не читать? Может, завтра? Но любопытство пересилило.

Почерк сына: «Звонила Иветта, просила позвонить в любое время, когда вернешься».

Первое, что она почувствовала, — возмущение: «вернешься»! Десятый класс! Получит двойку за сочинение — все! Впустую все ее хлопоты! Пойдет в армию! Потом она вникла в содержание записки. Что там случилось у Ветки? Так давно не звонила, и вдруг... В любое время... Она взглянула на часы. Десять минут первого. Поздно. Позвоню завтра. Она закрыла глаза. Да и звонить неохота, включаться в чьи-то чужие дела...

— Чужие? — переспросила ее из дальнего далека девчонка в ушанке кошачьего меха, в старом, перешитом из маминого пальтишке. — Да ведь это же Ветка Твоя Ветка!

Так явственен был этот голос из прошлого, что Мария Константиновна вздрогнула. Рука потянулась к трубке, набрала номер. Трубку взяли сразу же.

— А я думала, что ты уж не позвонишь, — сказала грустно Ветка.

— Я только что пришла. У тебя что-нибудь случилось, Ветка?

— Папа умер.

Мария Константиновна трезво подсчитала: ему ведь было за восемьдесят, Степану Петровичу. Что ж, естественно, в общем.

— Да что ты?! Когда? — разыграла она потрясение.

— Сегодня, в одиннадцать вечера... в больнице... Я не была с ним... Мне позвонили... — В трубке послышалось рыдание. — Мне так плохо, Машка...

Давно никто не называл ее Машкой. Она увидела ряды парт с черными изрезанными крышками, девчонок, Степана Петровича, еще не старого, красивого капитана-подводника. Он выступал у них в школе. И все девчонки в него в тот день влюбились. А она, Машка, была в него влюблена еще раньше, чуть ли не со второго класса, с тех пор, как подружилась с Веткой. Это была ее тайна.

— Я сейчас приеду, — сказала Мария Константиновна.

Мама на кухне мыла чашки и кастрюльку. Папа читал «Известия». И от того, что они так тихо и мирно, так привычно шелестели и двигались, Мария Константиновна почувствовала к ним нежность и жалость.

— Ты куда? — испугалась мама. — Я тебя не пущу!

— У Ветки отец умер.

— Степан Петрович!

У мамы было замечательное свойство старости: она не запоминала и с трудом узнавала нынешних друзей и знакомых дочери, но всех ее школьных подруг и все, что было с ними связано, она помнила прекрасно, иногда лучше, чем дочь.

Родителей Ветки мама знала по работе в родительском комитете. И потом, после школы, когда Маша уехала в Москву учиться в ГИТИСе, а Иветта осталась в городе и поступила в медицинский, их родители долго еще поддерживали отношения.

А вот у Иветты и у Маши связи с годами стали

роваться. Иветта рано вышла замуж, родила дочку, потом сына, у мужа была больная печень и мама с плохим характером. Обо всем этом — о детях, о печени мужа, о свекрови — Ветка могла рассказывать бесконечно... А Маше это было неинтересно. Она жила театром, а потом, когда перешла в училище, — педагогической работой. От житейских проблем она предпочитала держаться подальше, и это ей почти удавалось. Неудачное замужество, рождение сына мелькнули как эпизод. Бывший муж давно жил в другом городе, а сын ее не связывал — бабушка и дедушка целиком посвятили себя ему.

Последние годы подруги почти не виделись. Лет пять назад у Иветты умерла мать. Мария Константиновна в это время ездила по области с группой преподавателей — набирала курс на актерский факультет. О случившемся узнала только через месяц, когда вернулась. Позвонила Ветке, а зайти не зашла. Навалились дела, какие-то очередные училищные просмотры, репетиции... Осталось чувство вины — даже не столько перед Веткой, сколько перед ее мамой, доброй, тихой, красивой женщиной с грустными, спокойными глазами.

— А что случилось? — спросил папа, складывая газету.

— Не надо ему говорить, он расстроится, — тихо произнесла мама и крикнула: — Ничего! Ничего не случилось! Мы все идем спать!

— Куда идем?

— Спать! Идем спать!

Папа кивнул. Опершись одной рукой о стол, а другой о подоконник, он тяжело поднялся, постоял, как бы собираясь с силами, и, придерживаясь за спинки стульев, за стены, за ручку двери, тяжело пошел из кухни.

Мама засеменила вслед за ним. И, глядя на их согнутые спины, Мария Константиновна подумала о скорой и неизбежной разлуке, и в этой мысли промелькнуло

скрываемое от самой себя желание, чтобы это расставание, раз уж оно все равно неизбежно, было не очень мучительным. Тяжело наблюдать это медленное тихое угасание, читать в глазах родителей застенчивую, неумело скрываемую под шуткой мольбу — пожалей нас, будь с нами помягче, не раздражайся на то, что мы зажились на этом свете и стали в тягость... Они стыдились себя, таких беспомощных и жалких, старались поменьше обращаться с просьбами к дочери, а хотелось-то им малого: ответной любви, теплоты, внимания. Как раз того, на что у Марии Константиновны постоянно не хватало времени.

Стоянка такси была у вокзала. Мария Константиновна еще издали увидела рядочек зеленых огоньков. Вокзал светился. Было людно, но и в этой людности чувствовалось что-то ночное, несуетливое. Она села в машину, назвала адрес. Шофер включил счетчик.

Странно, спать совсем расхотелось. Она ощутила даже некий душевный подъем, чувство довольства собой, что ли, — тем, что вот, в трудную для подруги минуту, махнула рукой на собственную усталость, бросила все и спешит на помощь. Что-то в этом было от пионерских времен, от той школьной песни, которая в годы ее детства была очень популярна:

...В любой беде надежный друг
Всегда протянет руку!

Когда-то, в классе седьмом, наверное, Ветке поставили двойку по физике и из-за этой двойки отложили прием в комсомол. Ветка отчаянно страдала, а она, Машка, к ней приходила, утешала, в общем, проявляла себя как надежный друг. И в эти моменты очень нравилась самой себе. К тому же Вера Ивановна, Веткина мама, угощала ее пирожками с капустой. Хорошо утешать подругу под горячие пирожки с капустой, осо-

бенно если у самой двоек нет и маленький комсомольский значок торжественно алеет на школьном ситиновом фартуке. Или вот сейчас, подумала она с иронией, после успешной защиты и банкета утешать подругу, у которой умер отец.

Машина свернула на Пугачевскую и остановилась у подворотни шестиэтажного дома. Мария Константиновна расплатилась и вошла во двор. Было темно, только из двух окон второго этажа падал свет на чахлый утоптанный садик с двумя скамейками и столиком между ними, на две легковые машины и переполненный мусорный контейнер.

Дом был похож на старика, знававшего лучшие времена, — еще красивого, пытавшегося казаться крепким, гордящегося остатками пышной лепнины. Но было видно, что он обветшал и облез и уже с большим трудом сохраняет свой бывший импозантный вид, что ему, как любому старику, требуется чья-то забота и доброе внимание. Марии Константиновне показалось даже, что он стал ниже с тех пор, как она была здесь в последний раз, как будто осел.

Дверь открыл Павел, Иветтин муж, высокий, сутулый, с добрыми глазами на некрасивом, одутловатом лице.

— Вот молодец, что пришла. Может, успокоишь ее. Ну что же... Отмучился, можно сказать. Конечно, жалко. — Павел вздохнул. — Ну, пойди к ней, а я вам потом кофейку принесу.

Полная женщина с сединой в коротких черных волосах, с двойным подбородком и набрякшими мешочками под глазами, лежала одетая на тахте, прикрыв ноги пледом. Как похожа на Веру Ивановну!

— Ветка!

— Машка!

Они обнялись, потом отстранились, посмотрели друг на друга и промолчали.

— А я три седуксена приняла, — сказал Иветта. — И ни в одном глазу. Главное, что я себе простить не могу: он умирал, а я здесь, дома, смотрела телевизор. Соревнования по гимнастике.

Глаза ее снова набухли слезами.

— А где Сережка и Ленка?

— Сережка в армии, разве ты не знаешь? А Ленка — в Москве, она же в физтех поступила в прошлом году... Господи, сколько же мы с тобой не виделись... А папа тебя часто вспоминал.

— У тебя его последних фотографий нет?

— Последних? Нет, кажется. А старых много, в альбомах.

Когда-то Маше очень нравилось рассматривать Веткины семейные альбомы, восстанавливать, как по осколкам, жизнь Веткиных родителей, короткую жизнь ее старшего брата, погибшего на фронте. Альбомы были в бархатных переплетах, с толстыми картонными страницами, с фигурными прорезями для фотографий, и каждая страница была переложена нежно шелестящей полупрозрачной папиросной бумагой. Альбомы лежали на этажерке, на верхней полке, прикрытые от пыли белой с вышивкой салфеткой.

Сейчас этажерки не было, исчезло и «папино» кресло, но все же комната мало изменилась, и Марии Константиновне показалось, что в уголке старого дивана, под столом, на широком подоконнике — спят и никак не могут проснуться воспоминания.

— А где альбомы?

— Не помню... А! Я их на шкаф закинула. Тысячу лет не рассматривала.

...Они сидели рядом на тахте и перелистывали толстые страницы альбомов. Вот Степан Петрович в форме морского офицера, улыбается в объектив, а вот держит

на руках Ветку, и у нее испуганная рожица, словно сейчас заплачет.

Каждая фотография была как встреча с собой, такой далекой, что просто не верилось, что та девочка и она, сидящая сейчас на тахте, — одно и то же лицо. Это было почти невероятно, но, глядя на фотографии, Мария Константиновна испытывала свои тогдашние ощущения. Ощущения более чем тридцатилетней давности! Это было нечто такое счастливое и вместе с тем такое грустное, что слезы подступили к глазам.

...Степан Петрович обнимает за плечи Веру Ивановну. За их спиной море с белыми барашками волн. Подпись: «Ялта, 1950».

А вот Ветка и Маша в третьем классе, за партой. Вот весь их класс с учительницей посредине.

Ветка уже не плакала, должно быть, и ее повели за собой в детство старые фотографии.

— Помнишь?

— А это помнишь? — говорили они друг другу.

Словно клубочек покатился по давно утерянной, забытой, заросшей тропинке туда, где еще были молодыми их папы и мамы, где еще не сношены были детские шубки и шапки и где сами они ничего еще не знали о своем будущем. Они бежали по тропинке вслед за этим «А помнишь?», и оказалось, ничего не забыто, не потеряно, просто замерло, заснуло, как в сказочном замке, но волшебное слово прикоснулось к воспоминаниям, и воспоминания пробудились. И упали покровы времени, и счастливая Машка наконец-то вырвалась на свободу, потянулась, размяла затекшие руки-ноги и увидела счастливую Ветку, черноглазую, хорошенькую, с кудряшками на лбу, с двумя косичками с белыми бантами.

— А вот это мы на демонстрации, помнишь?

И оживал в памяти пасмурный ноябрьский день, их шестой «А» — все с бумажными цветами в руках, улыбались Наташка, Ленка, Кирка, а из-за Ленкиной спины показывала язык Алка...

— Помнишь?..

— А это помнишь?

...Скрипнула дверь. Павел вкатил столик, разлил кофе по чашкам, кажется, произносил какие-то слова — Маша и Ветка только взглянули издалека на немолодого мужчину, которого не было и не могло быть там, где они сейчас находились. Он это понял и ушел.

— Помнишь?..

— А это — помнишь?..

Они просмотрели и отложили альбомы. Но проснулись и вышли из своих уголков другие воспоминания, которые десятилетиями таились в этой комнате.

Веткина мама подошла к старенькой этажерке и стала протирать влажной тряпкой фарфоровые статуэтки. Степан Петрович, даже в домашней куртке сохраняющий выправку военного моряка, сидит в простом, удобном «папином» кресле, пьет крепкий чай, подшучивает над девчонками, а Маша краснеет и изо всех сил старается не смотреть на него, потому что ей кажется, если она на него посмотрит, то все поймут, что она в него влюблена.

— Он и в старости оставался красивым, — сказала Ветка. — А тогда, давно... Когда он надевал свою форму с орденами и мы шли с ним по улице, на него все женщины оглядывались. А он любил только маму.

Маша видела, что воспоминания об отце сейчас не вызывают у Ветки боли. Возможно, завтра боль вернется и будет продолжаться еще много дней, но сейчас эта боль смягчилась, превратилась в печаль.

— А помнишь, в пятом, что ли, классе, мы предложили тебе написать письмо на радио, чтобы твоего папу включили в Клуб знаменитых капитанов?

— Помню.

— Написала?

— Нет.

— Жалко. Помнишь песенку оттуда?

В шорохе мышином, в скрипе половиц
Медленно и чинно сходим со страниц...

Это был пасмурный вечер, брызги дождя в стекло, лист ватмана, разостланный на полу и прикнопленный к паркету, чтобы не сворачивался. Она, Машка, став коленями на ватман, в неудобной позе выводит красной акварельной краской: «За отличную учебу. Орган 7-го «А» класса». Ветка сидит рядом на коврике, перечитывает заметку. Говорит мечтательно:

— А как ты думаешь, если бы капитан Немо учился в нашем классе, он бы в кого из девчонок влюбился?..

...О любви не говори,
О ней все сказано,
Сердце верное в груди
Молчать обязано...

А это — зимние каникулы, ледяные дорожки городского парка, солнце, тарелки репродукторов на столбах, спрятанная от всех, только лучшей подруге доверенная мечта: о случайном знакомстве с мальчиком из сорок шестой школы, про которого она пока знает, что его зовут Саша и что он председатель совета дружины. О знакомстве, которое перейдет в дружбу, а дружба...

...В Кейптаунском порту
С пробоиной в борту
«Жанетта» поправляла такелаж.

Но, прежде чем уйти
В далекие пути,
На берег был отпущен экипаж...

Это они после экзаменов поехали — человек десять из класса — на дачу к Наташке, с ночевкой, и всю ночь пели. Белый шар луны заглядывал в раскрытые окна террасы, где они лежали на пахучих, набитых сеном матрасах. Им было по пятнадцать лет, экзамены сданы, а впереди — лето, — как жизнь, а жизнь — как огромное, жаркое, счастливое лето.

Когда Павел снова заглянул в комнату, он увидел, что обе женщины спят на широкой тахте, укрывшись одним пледом, лицами друг к другу, как будто и во сне продолжают разговаривать. Павел потушил свет.

Утром они позавтракали втроем, но уже исчезло то, почное, слитное состояние душ. Часто звонил телефон, сослуживцы и друзья выражали соболезнование. Приходили родственники — старенькие тетки, дядюшки, двоюродные сестры. Иветта суетилась, искала документы — предстоял день печальных, но неизбежных хлопот.

— Мне пора, — сказала Мария Константиновна.

Иветта проводила ее до дверей.

— Спасибо, Машка. Ты просто не представляешь, как я тебе...

— Ну вот еще. Тебе спасибо, что позвала.

Она поцеловала подругу в вялую щеку и вышла.

В переулке, за дощатым забором, на том месте, где когда-то были одноэтажные домишки, грохотал экскаватор. На месте снесенного цветочного магазина был разбит сквер. Пожалуй, от прежнего осталась только булочная на углу. Мария Константиновна вспомнила, что дома нет хлеба. Зашла и купила батон, рогалики и половинку черного. Положила хлеб в полиэтиленовую

сумку, которую всегда предусмотрительно носила в кожаной сумочке на ремешке, и пошла к остановке автобуса.

Автобуса долго не было. Мария Константиновна нервничала, поглядывала на часы. Сегодня у нее был ответственный день — показ, а потом обсуждение спектакля, поставленного ею на четвертом курсе. Она уже заранее злилась, представляя себе ехидное, аскетически-худое, с опущенными вниз усами лицо Алиханова. Да и Крылов не упустит возможности высказать какую-нибудь колкость. А все потому, что она так прямо в глаза и сказала однажды Алиханову, посмотрев его работу, что он обращается с пьесой как дрессировщик: гнет ее и ломает в угоду своим режиссерским «наитиям». А спектакль не арена. И с Крыловым она не дипломатничает: если у режиссера нет собственного почерка и он заменяет его «штучками», штампами — ему не место в училище.

Вот этих «дрессировщика» и «штучек» Алиханов с Крыловым ей и не могут простить.

Что же так долго нет автобуса? Нужно еще домой заехать, позвонить кое-кому из тех, кто будет принимать спектакль, договориться, как организовать обсуждение, чтобы нейтрализовать выступления недоброжелателей...

Автобус наконец подошел, и она села.

...Поздно вечером Мария Константиновна, очень усталая, сидела на кухне, пила чай и рассказывала сыну и родителям, как прошел показ и что говорили на обсуждении. Вопреки ее опасениям и показ и обсуждение прошли прекрасно. Ее поздравили с великолепным спектаклем. Все признали, что такого «Ревизора» даже в Малом не приходилось видеть. Алиханов похвалил! Это было уж сверх всякого ожидания.

— А как, как именно они хвалили? Что именно они говорили? — радостно волновалась мама, и тут же, не

дожидаясь ответа, пододвигала дочери сыр, масло, ро-
галики. — Поешь как следует! Ты ведь ничего не ела
целый день.

— Бабушка, не перебивай! — сказал сын.

— А ты, чем делать замечания старшим, — миролю-
биво заметила Мария Константиновна, — лучше бы
повторил правила грамматики! «Вернешся» — без мяг-
кого знака! Позор!

— Там есть мягкий знак, только очень маленький.
Ты просто не заметила.

— Врунишка!

Затрещал телефон. Сын поднял трубку.

— Если меня, спроси кто! — предупредила Мария
Константиновна.

— А кто ее спрашивает? Изетта? — сын вопроси-
тельно посмотрел на мать. Мария Константиновна за-
мотала головой. — Ее нет. Я не знаю... Хорошо, пере-
дам.

Он положил трубку и сказал:

— Просила передать, что похороны завтра в час.
И если ты сможешь...

— Вряд ли я смогу, — сказала Мария Константи-
новна. — Куча контрольных... И вообще...

Она приняла душ и легла. Зажгла розовый ночник и
раскрыла последний номер «Нашего современника» с
нашумевшим романом.

## ДОРОГА НА АКТАНЫШ

Лида проснулась от ощущения тошноты и озноба. Она зябко закуталась в казенное, не-
греющее байковое одеяло. Соседки по общежитию —
геологи из соседних партий — еще спали.

«Что это со мной? — морщась, подумала Лида. —
Консервы, что ли?»

Она вытянулась на постели и сделала несколько глу-
боких вдохов и выдохов. Как будто полегчало.

Сегодня отряду предстоял выезд на новое место работы, в поселок Актаныш — километрах в ста пятидесяти от Туймазы. Сейсмическая партия, в которой Лида работала старшим инженером, сидела в Туймазе уже две недели, налаживая аппаратуру.

Лида надела халат, перекинула через плечо полотенце и пошла в душ, установленный в самом потаенном уголке базы. К нему вела узенькая тропинка, по обе стороны которой гнулись от собственной высоты густые, темно-зеленые стебли крапивы. Солнце взошло, и от влажной земли, от крапивных зарослей исходил теплый, дурманящий аромат.

После душа Лида пошла в кухню готовить завтрак для отряда. В Актаныше они наймут повариху, а тут Лида от нечего делать взяла на себя обязанности поварихи: она была пока единственной в своем отряде женщиной.

Правда, вчера приехала еще одна — жена начальника отряда. Но Лида ее пока не видела. Знала только, что совсем молоденькая, только что окончила школу. Любопытно, что́ за девица.

Начальника отряда Лида знала много лет — учились в одном институте и последние три года работали в одной организации. Знала она и первую жену Феликса — Тамару, они поженились еще в институте, но через несколько лет разошлись. Сейчас Феликсу было тридцать два, они с Лидой ровесники.

Лида поставила на газ большую кастрюлю с водой для макарон, протерла мокрой тряпкой длинный, грубо сколоченный стол, покрытый стершейся клеенкой, расставила миски, вскрыла три банки тушенки.

Снова вернулось чувство бодрости, физического здоровья — в экспедициях она всегда испытывала острое ощущение жизни. Обретала самое себя. Как бы погружалась в чистую реку. И все ее переживания («переживания», как называл их Лидин муж) словно смывало.

Последнюю зиму она жила нервно. Разладились отношения с мужем. Нет, внешне все обстояло благополучно: они получили кооперативную двухкомнатную квартиру, расплатились с долгами, Лида поступила в заочную аспирантуру. И все же, все же...

Все чаще возникала тоскливая мыслишка: а для чего все это? Для кого? Своими сомнениями она с Анатолием не делилась, и он молчал. Они вообще в последние годы перестали быть откровенными. Хотя, конечно, они оба много работали — он преподавал экономическую географию в пединституте, писал статьи. Просиживал за своим столом допоздна — казалось бы, когда тут откровенничать?

Ах, не в работе дело! Было время, в тесной коммуналке, отделенные от комнаты родителей шкафом и занавеской, они не могли наговориться, нахохотаться, а теперь за весь вечер хорошо, если обменяются двумятремя деловыми фразами.

Может, возраст виной? Нет, другое, другое...

Когда-то Лида жалела своих подруг по институту, вынужденных оставить работу из-за ребенка. Подруги — почти все — вернулись к своей прежней профессии, ничего не утратив, наоборот, став во сто крат душевно богаче, а она... У нее мог бы быть семилетний сын или дочка. А вот нету. И теперь уж, наверно, не будет. И Анатолий это понимает — вот откуда его охлаждение...

Она тряхнула головой, отгоняя непрошеные мысли, и пошла в мужское общежитие будить своего помощника, дядю Васю, шофера. Старик был на пенсии, а в экспедицию устроился для своего удовольствия — отработать законные два месяца и посмотреть мир, как он говорил. Каждое утро, входя в комнату, Лида видела дядю Васю, сидящего на постели и читающего толстую, измусоленную книгу «Угрюм-река». И каждый раз дядя Вася, как бы смущаясь, объяснял:

— Трудно оторваться. Очень уж женщина тут привлекательная — Анфиса. Про любовь тут все... Очень откровенно!

Вот и сегодня дядя Вася посмотрел на Лиду поверх очков и сказал:

— С полпятого читаю. Анфису-то убили все-таки. Жалко.

— Дядя Вася, вставать пора, — сказала Лида. — Вы там макароны в кипяток засыпьте, а я пойду мальчиков будить.

Мальчики — рабочие, студенты геофизического техникума, — Боря, Нафис и Тимур, серьезные, собранные, уже встали и умывались.

Оператор Коля подтягивался на самодельном турнике. Вышел с полотенцем через плечо гравиметрист Игорь Сергеев.

Когда все уже сидели за столом, появился Феликс, пропустив впереди себя хорошенькую, пухленькую девушку в коротком ярком платьице. Она смутилась и затопталась на месте, увидев направленные на себя любопытные взгляды.

— Вот, познакомьтесь, — сказал Феликс. — Это Маша, Мария Ивановна. Прошу любить и жаловать.

Он и сам казался смущенным; Лида невольно улыбнулась — это так не вязалось с его характером...

Маша нерешительно села за стол рядом с Феликсом. Она все время поглядывала на него, словно пытаясь угадать по выражению его лица, так ли себя ведет?

«Совсем ребенок», — подумала Лида и сказала:

— Держите миски.

— Может, я помогу? — спросила Маша и снова робко взглянула на Феликса.

— Рубай, — ответил он, чуть усмехнувшись. — Успеешь...

После завтрака все разошлись — складываться. Лида осталась перемыть и собрать кухонную утварь

С завтрашнего дня она приступит наконец к своим прямым обязанностям.

Подошла Маша:

— Можно, я помою посуду?

— Давай, — согласилась Лида и взялась за веник. — Ну, как первое впечатление?

— Ой, даже не знаю! — Маша уронила миску, покраснела, взглянула на Лиду испуганно, и Лида снова подумала: «Господи, совсем ребенок!»

— Нет, вообще-то мне пока очень нравится! — торопливо заговорила Маша. — Вы знаете, Феликс собрал такой чудесный букет к моему приезду! Феликс с виду такой суровый, правда? А на самом деле — ой, он такой добрый! Все-таки совсем другое дело, когда тебя с цветами встречают, правда?

Лида кивнула. О цветах это она подумала. Зашла вчера на веранду, где обитал Феликс, увидела грязный пол, разбросанные вещи и сказала:

— Что же ты? Жена приезжает, а у тебя такой кавардак. Хоть бы цветочков набрал.

— Слушай, старуха, — ответил Феликс, — у меня дел — во! Может, ты, это самое... Цветов нарвешь и все такое?.. Не в службу, а в дружбу?

Она пожала плечами, но все-таки отправилась в поле собирать цветы для жены Феликса. Глупо. Собственно, ничего тут не было такого особенного. Ему и правда некогда. И все же как-то это... Ну, попросил бы прибрать, пол помыть. А цветы?

— Вы давно знакомы? — спросила она.

— Два месяца уже. Ну и что? — словно оправдываясь, быстро проговорила Маша. — Ведь это неважно, сколько знакомы! Бывает — долго, а поженятся — и плохо все. А бывает, с первого взгляда — и на всю жизнь. Вот у нас с Феликсом как раз такое. А мама с папой не верят. Они не понимают, у них отсталые понятия. Папа достал путевку в Сочи, представляете? Он

думал соблазнить меня морем. А мне не надо никакого моря!

— Где же вы познакомились? — спросила Лида.

— В консерватории, на концерте Гарри Гродберга. А вы давно знаете Феликса?

— Учились вместе.

— А-а!..

Ей, наверно, хотелось расспросить о Феликсе, но она стеснялась, а Лида не стала ничего рассказывать. Что-то опять, как и утром, ей стало не по себе, должно быть, от запахов кухни. Она торопливо собрала утварь, остатки крупы, банки с тушенкой. Все это они с Машей отнесли в грузовик, где уже лежали сложенные палатки, раскладушки, рюкзаки.

Маша пошла собирать свои вещи, а Лида присела на складной стульчик, еще не закинутый в кузов, и подставила лицо солнцу. Дядя Вася копался в моторе.

— Не понравилась! — сообщил он из-под капота.

— Кто?

— Маша эта.

— Да что вы, дядя Вася! Такая хорошенькая!

— Квелая какая-то. Ты лучше.

— Ну да!

— Правда, правда. Ты — живая, крепкая. Люблю таких. Боевых.

Лида засмеялась и с благодарностью посмотрела на дядю Васю. Толстый, медлительный — старый «автобусник». Он водил автобус номер пять, тот самый, на котором Лида каждый день ездила на работу. Наверное не раз видела за стеклом кабины дяди Васин круглый затылок и не предполагала, что доведется подружиться

Отправились только в третьем часу.

Машин было три. Первой шла бортовая, доверху нагруженная скарбом и ящиками с аппаратурой. В кабине сидел Феликс. Вслед за ней должна была идти сейсмостан-

ция, управляемая дядей Васей. На ней отправились Игорь Сергеев и оператор. Замыкал колонну подъемник, накануне вернувшийся из капитального ремонта. В крытом кузове на спальных мешках расположились мальчишки-рабочие. Лида и Маша поместились в просторной кабине.

Шофер подъемника, Валентин, высокий, крепко сложенный парень в солдатской гимнастерке, похоже, недавно вернулся из армии. Об этом свидетельствовала и гимнастерка и, главным образом, лицо, молодое, но с тем выражением бывалости, зрелости, которое отличает людей, послуживших в армии. Валентин был женат — на безымянном пальце блестело обручальное кольцо, которое казалось добела выцветшим и совсем не шло к его сильной, огрубевшой, в ссадинах руке. Перед самым отъездом Валентин принес и положил под ноги Лиде и Маше толстый обломок доски.

— А то пол очень накаляется, — объяснил он.

Грузовик Феликса быстро вырвался вперед и вскоре скрылся из виду.

Подъемник, ревя и мягко переваливаясь на ухабах, шел впритирку за сейсмостанцией. В кабине было душновато. Горячим воздухом от мотора обжигало ноги.

И все-таки Лиде было хорошо от много раз уже испытанного чувства простора — горизонта и мыслей. В замкнутом пространстве комнаты, улицы или города мысль то и дело упирается в неотложные дела, обязанности, заботы.

А когда впереди дальняя дорога, когда перед глазами — земля с ее жизнью, текущей мимо, мысль безгранична, она как поток, который вдруг нахлынет — и можно плескаться в нем сколько хочешь.

Полузакрыв глаза, Лида медлила в предвкушении ощущения этого потока, вызывала в памяти то один образ, то другой, отвергала, выбирая основное русло, по которому потекут ее мысли.

И вот путь выбран, и мысли заструились, пошли, отбрасывая все неприятное, все то, о чем она не хотела думать, и оставляя только то, что не могло нарушить ее спокойного состояния.

Такое бывало с ней только в дороге и только в экспедициях. Много раз испытанное ощущение, и все же каждый раз она ждала его.

На этот раз, отдаваясь дороге, Лида с грустью думала о том, что ей уже не восемнадцать, как сидящей рядом и клюющей носом Машеньке, и что в представлении той же Машеньки она уже вообще немолода. А между тем ощущение молодости было очень сильным, и она подумала, что это, наверно, свойство характера: старея — молодеть.

Где-то она вычитала фразу: «Молодость приходит с годами». Возможно, так оно и есть, но чем это объяснить? Может, с годами жадность к жизни увеличивается, потому что человек осознает многое из того, чего раньше не сознавал и не ценил. И он торопится испытать давно испытанное, потому что боится не успеть.

Машенька этого еще не боится. Ей было душно и тряско, она взвизгивала, когда в кабину залетал овод и начинал с жужжанием биться о стекло.

— Смотрите, какое озеро! — воскликнула Маша. — А почему в нем черная вода?

— Это не вода, — ответила Лида. — Нефть. Это ее так хранят.

— Под суд бы хранителей этих, — заметил Валентин. — Не хватает нефтехранилищ — и вот до чего додумываются.

— А до чего? — не поняла Маша.

— Да ведь самые ценные вещества испаряются! А сколько пыли, грязи попадает!..

Внезапно остановилась идущая впереди сейсмостанция. Валентин затормозил, приоткрыл дверцу:

— Что там у тебя, дядь Вась?

— Мотор заглох, будь он неладен!

Пока Валентин и дядя Вася копались в моторе, Лида и Маша вышли из кабины размяться. Мальчики-рабочие тоже вышли, улеглись на траве.

— Не задохнулись вы там? — спросила Лида.

— Нет, ничего, — ответил Нафис. — Мы на спальных мешках, как короли. У нас окошко открыто.

Мотор наконец заработал.

— Садитесь, поехали, — сказал Валентин, забираясь в кабину. — Старая развалина, а не машина. Как только старик доедет — не представляю.

И снова потянулась дорога. Газовые факелы вздымали ввысь алые языки пламени, словно знаменуя собой торжество человека над природой.

— Какая прелесть! — сказала Маша.

— А меня, когда я на это смотрю, злость берет, — возразила Лида.

— Почему?

— Да потому, что разбазаривают газ. Миллионы кубометров сгорают впустую.

— Зачем же их тогда зажигают?

— Чтобы увеличить набор нефти, — объяснила Лида и подумала, что Маше все это безразлично: она приехала провести здесь свой медовый месяц, ей нужен Феликс, а больше ей ничего не нужно.

Словно в ответ на эти мысли Маша сказала:

— Все думают, я за мужем сюда приехала. А я — не только. Ведь я работать буду. А потом, когда я все это еще увижу? Ведь интересно же посмотреть, правда?

— Конечно, — согласилась Лида и с уважением подумала о Маше: «А она молодец!»

Лида попыталась вспомнить, какой же была сама в свои восемнадцать лет?

И вдруг ей показалось, что все забыла. Не события — их она помнила хорошо, — а внутренние ощущения, мысли, духовную жизнь тех лет.

Но потом она вспомнила — и удивилась. Все-таки это было еще почти детство. Какие-то игры, смешные увлечения. Принять самостоятельное решение — к этому она, пожалуй, была не способна. Вот так, после двух месяцев знакомства, объявить родителям: «Я выхожу замуж» — и уехать к мужу прямо из теплого гнездышка — нет, она бы не решилась на это в свои восемнадцать лет.

У дяди Васи то и дело глох мотор, и Валентин, подъезжая вплотную, пихал сейсмостанцию бампером своей машины. Мотор на некоторое время заводился, потом опять глох. Обе машины еле тащились, кабина была полна пылищи, и, наверно, поэтому Лиде опять стало нехорошо.

— Укачало? — спросил Валентин, взглянув на ее побледневшее лицо. — Еще километров пять до поселка Бакалы. Там передохнем, пообедаем.

— Нет, останови... — попросила она.

В поселке Бакалы возле столовой их ждал Феликс.

— Вы что так долго? — спросил он. — Мы тут час стоим.

— Стоите! — раздраженно ответил Валентин. — Не могли навстречу выехать? Раз долго не едем — значит, случилось что-то. Если ты начальник отряда, должен связь держать. А ты вперед удрал! «Час стоим»! Так бы до вечера и стояли?

Маша вдруг встала перед мужем, как бы закрывая его от нападок шофера:

— Ну и что? А при чем тут Феликс? Откуда он знал?

Валентин рассмеялся. Феликс тоже улыбнулся и обнял Машу за плечи:

— Защитница! Как ты, малышка? Устала?

Валентин проворчал:

— Черта лысого я теперь за дедом поеду! Няньки я, что ли? Берите его на буксир и тащите.

— Самого бы тебя на мое место посадить! — возра-

зил дядя Вася. — Этой развалине на свалке место, а тут человека на нее сажают.

Лида подошла к стойке. Есть не хотелось — побаливала голова, знобило что-то. Она взяла три стакана тепловатого компота и села за пустой столик, за соседним столиком устроились Феликс и Маша.

— Компотику хочешь, Машенька? — нежно спрашивал Феликс. — А что хочешь? Может, сока томатного купить?

Маша, утомленная дорогой, через силу глотала. Мальчишки исподтишка поглядывали на молодоженов и посмеивались.

После обеда к Феликсу подошел оператор Коля:

— Зинаиду Павловну будем ждать или поедем?

Феликс кашлянул и бросил взгляд на Машу.

— Не пришла к сроку — чего ж мы ее ждать будем? Пусть на автобусе добирается.

— А то давай я съезжу, я знаю, где ее дом.

Но Зинаида Павловна с чемоданчиком в руке сама уже спешила навстречу. Это была миловидная женщина лет тридцати пяти. Она жила с матерью и дочкой здесь, в Бакалах, а на лето нанималась в отряд проявительницей. Ее любили за редкостную доброту. В отряде она была вроде няньки или сестры.

Лида с любопытством взглянула на Феликса. Он поймал ее взгляд и нахмурился.

Зинаида Павловна, раскрасневшаяся от бега, с растрепавшимся узлом каштановых волос, в которых явственно поблескивала седина, радостно улыбаясь, остановилась перед начальником отряда:

— Здравствуй, Феликс! Что-то ты похудел с прошлого года!

— Здравствуй, Зинаида Пална. Давай сразу в машину, — сухо, не глядя на женщину, ответил Феликс. — И так всех задержала.

Улыбка медленно сползла с ее лица. Она взглянула

на Машу, стоящую рядом с Феликсом, потом снова на Феликса.

— Я, Феликс Петрович, уж три раза сюда приходила, ждала вас, — заговорила она другим, каким-то виноватым тоном. — Думала, перенесли день отъезда. А потом мальчик соседский прибежал, говорит — приехали. Ну, я скорей сюда... Феликс Петрович, это кто же — жена ваша? — спросила она вдруг с доброй улыбкой.

— Жена. Все по машинам! — крикнул он, сел в бортовую, и снова его машина вырвалась вперед и скрылась за поворотом.

Валентин наддал скорость, обошел было сейсмостанцию, но не тут-то было: дядя Вася застрял между бревнами шаткого мостика. Пришлось давать задний ход и выволакивать машину буксиром.

— Ой, до чего я устала, — пожаловалась Маша. — Полежать бы...

— Поменяйся с кем-нибудь из ребят, — предложила Лида.

Они обошли машину кругом и постучались к ребятам. Те открыли дверцу.

— Как у вас тут уютно! — сказала Маша.

— А вы идите к нам, — радушно предложил Нафис. — Вот тут самое удобное место.

Маша улеглась на спальных мешках и по-детски подложила ладошки под щеку.

— Прямо блаженство! — пробормотала она и закрыла глаза.

Боря и Нафис устроились сбоку, на ящиках. Тимур перебрался в кабину.

Сейсмостанция еле ползла. Валентину приходилось ползти вслед за нею. От пыли першило в горле.

На Лиду вдруг напала неодолимая сонливость. Глаза закрывались сами собой. Она откинулась на спинку сиденья. С минуту еще чувствовала толчки машины.

острое плечо Тимура и сильное, теплое — Валентина, а потом заснула.

Ей показалось, она спала совсем недолго, но, когда открыла глаза, за стеклами машины была темнота. Машина стояла, освещая фарами кузов сейсмостанции.

Лида соскочила с высокой подножки и подошла к группе людей, столпившейся возле сейсмостанции.

— Что случилось?

— Бензин кончился, — мрачно ответил дядя Вася. — Канистра с бензином — на бортовой, а бортовая, наверно, уже в Актаныше.

— Зачем ему вперед понадобилось вырываться? — злился Коля. — Ведь отрядом едем, значит, надо вместе держаться!

— Ведро и шланг есть? — спросил Валентин. — Давайте из моего бака отольем. Мне хватит.

Но оказалось, что и ведро и шланг тоже на бортовой Феликса.

— Я бы таких начальников... — начал дядя Вася.

— Тихо, — остановил разошедшегося старика Игорь Сергеев и кивнул на стоящую рядом, сжавшуюся от стыда и огорчения Машу. Она чуть не плакала, и Лида подумала, что она ненавидит сейчас их всех, посмевших ругать ее замечательного, необыкновенного, самого лучшего Феликса.

К счастью, неподалеку оказалась деревня. Ведро раздобыли, а шланга так и не достали, поэтому перекачка бензина заняла много времени.

Лида и Зинаида Павловна прогуливались взад-вперед по дороге. Все равно не могли ничем помочь. Маша снова прикорнула на спальных мешках.

— Стыд-то какой!.. — произнесла вдруг Зинаида Павловна. — Зачем только я к нему подошла! Да еще про жену спросила...

— Это ему должно быть стыдно, — ответила Лида. — Просто по-хамски с тобой разговаривал.

— Нет, Феликс хороший, — грустно возразила Зи-

наида Павловна. — Я ведь понимаю... Мне-то уж под сорок... Я ему так... На время...

— Пойдем в машине посидим, — предложила Лида. — Мутит меня что-то весь день и в сон клонит.

Зинаида Павловна с интересом на нее взглянула:

— А я как раз спросить хотела. Я сразу подумала, как тебя увидела. Верный у меня глаз или нет? У тебя сколько уже?

— Чего — сколько? — не поняла Лида.

— Ну, месяц-то который у тебя? Меня, я помню, до четвертого месяца все мутило — куска в рот не могла взять. И в сон шибало.

Лида остановилась.

— Зина! — только и смогла выговорить она. И вдруг заплакала и засмеялась одновременно, обняла Зинаиду Павловну, расцеловала.

Ну, конечно! Как она раньше не догадалась! Могла бы давно догадаться! Просто не верила, что это может случиться.

— Господи, неужели это возможно?

— А ты что, и не знала?

— Ох, Зина! — повторяла она сквозь слезы.

Какая же она была дура! Всю жизнь стремилась к чему-то, что ей казалось счастьем, и отталкивала от себя самое главное! Да в чем же оно — счастье-то! В удовлетворении желаний? Но чего бы ты ни достигла, не будет удовлетворения, пока ты не выполнишь самый главный закон. Закон жизни.

Неужели это исполнится?

«Послать телеграмму Толе? Я напишу ему. Нет, позвоню из поселка. Да он же с ума сойдет от счастья! Он уже и надеяться перестал, что у нас когда-нибудь появится сын или дочка!

Переведусь на другую работу. Хватит, поездила. А мама! Она-то как обрадуется!»

Чувство, которое она много лет сдерживала, прорва-

лось наконец, да она теперь и не хотела его сдерживать. Она представила, как берет на руки, прижимает к себе крохотного, родного своего ребенка.

В полной темноте машины въехали в поселок, покатили по широкой пыльной улице мимо крепких домов с погашенными окнами и остановились за селом, на большой поляне.

В два ряда стояли белые палатки. Справа высился холм, слева поблескивала река. Полная луна освещала лагерь. Звенели комары.

— Переночуете в красном уголке, — сказал Феликс. — Я вам туда раскладушки поставил. Завтра с жильем разберемся.

— А ты? — спросила Маша.

— Мне с начальником партии кое-что обсудить надо. Умыться хочешь?

— Хочу.

— Пошли.

Он увел Машу. Лида спустилась к реке. Вода была теплая. Окунуться бы, смыть дорожную пыль. Но она не решилась. Вымыла лицо и руки и вернулась к палаткам. После рева моторов тишина казалась особенно глубокой. Даже звон комаров не нарушал, а словно усиливал ее. Зинаида Павловна осталась в селе — у нее там жила сестра.

Лида вошла в просторную палатку, уставленную столами и скамейками. В углу притулилось несколько раскладушек и спальных мешков.

«Который из них мой? — подумала Лида. — А, все равно, завтра разберемся».

Она забралась в спальный мешок и блаженно вытянулась. Тишина и спокойствие были вокруг нее и в ней самой. Она закрыла глаза — и сейчас же поплыли буровые вышки, поля, насосные установки, лица спутников, рука Валентина с обручальным кольцом на пальце...

В дверях палатки послышался шорох. Вошла Маша

и стала стелить мешок на раскладушку. Она всхлипывала, шмыгала носом.

— Ты что? — спросила Лида.

Маша не ответила.

— Ты что, Машенька?

— Феликс сказал... Что он купит мне билет... И завтра же отправит домой! Он сказал... Что я вела себя как... — Маша зарыдала.

— Ничего не понимаю. Ты успокойся, скажи толком, в чем дело.

— Потому что... я к ребятам ушла! А другие могли подумать...

Лида засмеялась.

— Что могли подумать? Да он что?

— Как будто легко с непривычки целый день ехать! — плакала Маша. — Вы все привыкли, а я устала! Как он может мне не доверять! И вообще!.. Я думала, что он... А он!..

Лида вылезла из спального мешка, села рядом с Машей, обняла дрожащие плечи. Как успокоить эту девочку, в душе которой вот сейчас, на глазах у Лиды умирал образ мужественного, необыкновенного героя, сплав всех самых романтических образов, взятых из книг и кино.

А он обыкновенный, не книжный, не плохой и не хороший. Никакой он не герой. Но пусть Маша поймет это потом, постепенно, не сейчас.

— Тебе показалось! — горячо заговорила Лида. — Ну что ты придумала, глупенькая? Феликс — ведь это такой парень! Да его знаешь как все уважают! Феликс! Да на него как на каменную стену можно опереться! А ты что выдумала? Да вы просто не поняли друг друга!

— Вы так думаете? — неуверенно проговорила Маша, все еще всхлипывая. — Да-а! А вдруг он правда завтра отправит меня.

— Никуда он тебя не отправит! Он просто пошутил! У вас сейчас самое-самое начало, и столько еще впереди... Все будет прекрасно, ты успокойся, ложись. Завтра все уладится.

— Нет, я пойду к нему! — взволнованно сказала Маша. — Если он такой, как вы говорите, он ведь должен понять!

Снаружи прошелестели шаги, и голос Феликса виновато позвал:

— Мария Ивановна!

Она радостно встрепенулась, поднялась и вышла из палатки.

Лида услышала их удаляющиеся шаги, улыбнулась и снова легла.

«И у меня еще впереди много-много, — подумала она, засыпая. — Но я счастливее этой девочки, потому что у меня и позади много...»

Сквозь сон она удивилась этой странной, нелогичной мысли: Но именно так она чувствовала.

Звенели комары, а ей казалось, что это звучит прекрасная, торжественная музыка.

## КОЛДУНЬЯ

Утренний, чуть влажный воздух холодит лицо. Голова кружится от запаха хвои и ледяных листьев. Набираешь воздуху полные легкие, каждым нервом ощущаешь неповторимую свежесть леса.

Толстые ветки почти смыкаются над головой, дорогу переплели шершавые коричневые корни. Солнце пятнами покрыло землю, и на этих солнечных островках каждая травинка отбросила на землю крошечную резкую тень.

В тех местах, куда не успело заглянуть солнце, держится роса. Цветы шиповника в тени еще ярче, чем на солнце, а на зубчатых грубоватых листьях невзрачной манжетки, на каждом зубчике лежит по крошечной про-

зрачной капле; кажется, роса надела на листья сверкающие ожерелья, и скромное растение вдруг заискрилось, заиграло, как Золушка на балу.

Одно плохо: неподъемный рюкзак за плечами.

Я шла за Сережей шаг в шаг, повторяя все его движения: вскидывала рюкзак повыше, подсовывала кисти рук под ремни, чтобы не так резало плечи. Мне казалось, что, если я не буду повторять все Сережины движения, я тут же споткнусь, упаду, и меня раздавит рюкзак, от которого болели плечи, затекала и напрягалась шея.

За мной шли Маечка и Зина.

Сережа у нас за старшего, да он и есть старший.

В этом году ему дипломом защищать. А мы перешли только на второй курс, нам все внове.

С холма на холм по заросшим, разбитым проселкам Архангельской области. Давно осталась позади косая деревянная городьба. Местные называют ее «огороды». Ими огораживают небольшие колхозные поля.

Былины... Их пели столетия назад нищие бродяги — «калики перехожие». Ходили из дома в дом и пели — за очаг, за ночлег, за кусок хлеба. Слушали люди песни-сказания про чудо-богатырей: Илью Муромца, Василия Буслаевича, Добрыню... Слушали, запоминали, передавали детям.

Но давно уж нет «калик перехожих», выросли дети, и внуки, и правнуки. Молодежь поет новые песни, старики же, узнав, что старые «песни» нужны нам «для науки», честно пытались вспомнить. Но столько событий прошло между их молодостью и старостью...

Наконец привал. Зашли неглубоко в лес, выбрали укромное место под разлапистой пихтой. Сбросили рюкзаки. Какое наслаждение — распрямить плечи, пошевелить онемевшей шеей, пройти несколько шагов, не ощущая за спиной тяжести.

Подул ветер, и за одну минуту сизая туча заслонила солнце, начался дождь. Сели на рюкзаки, накрылись Сережиной плащ-палаткой. Сережа набрал сучьев, и вскоре затрещал костер.

Нарезали хлеб, разогрели прямо в банке тушенку, вскипятили чайник. Искрами взрывались еловые лапы, дрожал над костром теплый воздух, и сквозь него седые могучие ели казались живыми сказочными великанами.

Костер догорел, Сережа скомандовал:

— Подъем!

Последние километры шли не отдыхая. Один только раз остановились на минуту: прямо у дороги возвышался столб с надписью на двух языках. Мы вступили на территорию Карелии.

Потом снова потянулась косая городьба, лес расступился.

Вдалеке заструился голубоватый туман. Колод-озеро! Огромное, спокойное, оно все было покрыто небольшими лесистыми островками. Чуть заметная рябь шевелила воду, и воздух над озером дрожал, волновался, словно был продолжением этой озерной синевы.

Черные силуэты рыбачьих лодок скользили по поверхности воды.

Ударил аромат свежего хлеба и парного молока, слабый запах дыма и навоза.

Вот она — деревня. Высокие дома из почерневших от времени бревен, серые рыбачьи сети, аккуратно растянутые вдоль заборов, перевернутые лодки на берегу и высокая деревянная церковь.

В церкви был клуб. Вечером мы пошли туда. На высоком пятиярусном иконостасе в нескольких местах еще сохранились иконы.

Двери, ведущие в алтарь, были украшены деревянной резьбой с позолотой. В самом алтаре — библио-

После фильма начались танцы. С непривычки странно было танцевать в этом клубе, где со стен смотрели на тебя лики святых. Впрочем, танцевать почти не пришлось: девушки и парни окружили нас плотным кольцом.

— Долго еще здесь пробудете?

— Несколько дней.

— А потом куда?

— Дальше на Лёкшм-озеро.

— На Поч-озеро к колдунье не зайдете разве?

— К кому?!

— Так зовут у нас Кузнецову, Пелагею Максимовну. Она лечить умеет, заговоры знает.

— Заговоры знает? — загорелся Сережа. — Это точно?

— Старухи ходят к ней, верят...

— Обязательно пойдем!

Кому идти? Конечно, Сереже, но кого ему в пару? Каждой хотелось увидеть живую колдунью. Решили по жребию. Счастливая палочка досталась мне.

В поле был сильный ветер, но, едва мы вошли в лес, стало теплее. Мы точно окунулись в густое и душистое парное молоко.

Рдели кусты шиповника, протягивая до середины дороги колючие ветки. В лесу заметно чувствовался вечер: небо в прогалинах сосен было еще совсем светлым, но на земле, за первым рядом деревьев, разлился страшноватый сумрак.

Неудивительно, что в этих местах сохранилось так много преданий о лешних и колдунах.

Дорога была сильно разбита, «расторбана». Ее перекрывали стволы упавших деревьев, невысыхающая дождевая вода образовала огромные лужи, затянутые по краям ряской.

Пахло застоявшейся болотной водой, гнилью, мокрыми листьями.

Вот наконец и росстань. Перепутье. Отсюда расходятся три дороги: пойдешь направо — придешь к чуть видному за деревьями озеру. Прямо пойдешь — придешь к большой открытой поляне. Это сухмень. Вырубка. Выкорчуют пни, вспашут землю — и будет тут новое поле.

Левая тропинка ведет дальше в лес. Тропинка подозрительно узкая. Однако у нас есть точное указание: от росстани держаться левой стороны.

Свернули налево.

...Я не сразу заметила, что тропинка, по которой мы шли, исчезла.

— Сережа, — сказала я, — тебе не кажется, что мы малость того... Заблудились?

— Кажется, — согласился он.

— Надо бы отыскать тропинку.

— Надо бы...

Мы искали ее битый час. Тропинка исчезла, будто ее и не было никогда.

Побрели наугад. Лес становился гуще, темнее.

Мы заблудились, теперь это было совершенно ясно. Гнилая чащоба окружала нас. Деревья стояли большие, толстые и словно бы живые. Но вот Сережа споткнулся, ухватился за ствол, чтоб не упасть, и дерево рухнуло — сгнило. Ноги то и дело проваливались в древесную гниль, в труху. А тут еще комары. Они кружились над нами сплошным серым облаком, кусали сквозь одежду.

Белая ночь... Впрочем, в лесу она не очень-то и белая. Скорее темно-лиловая. Стволы деревьев подернуты снизу густым лиловым туманом.

В довершение ко всем неприятностям мы провалились в болото.

Нет, нас не засосало с головой в трясину. И все же неприятно, когда ноги у тебя по колени проваливались в густую травянистую грязь, руки черны от облепивших

комаров, комары визжат в волосах, а губы распухли от укусов.

— Да что же это такое! — воскликнул Сережа. — Леший нас, что ли, водит!

Он размазал на лбу кашу из комаров и растерянно осмотрелся.

И вдруг где-то слева, не очень далеко от нас, раздался звон. Так мог звенеть только колокольчик, привязанный к шее коровы или лошади.

Значит, рядом пастух или деревня!

Мы бросились на звон колокольчика.

Бежали, путаясь в ветвях, спотыкаясь о лежащие стволы. Звон приближался.

И вот чаща расступилась. Мы вышли на большой пригорок, заросший соснами. Деревья росли нечасто, стволы тонкие, прямые, устремлялись прямо в светлое небо, и на них бликами играл отсвет красного, незакатывающегося солнца. Столбы света, запах свежести и хвои, под ногами сухая, серая от иголок земля.

А в нескольких метрах от нас стояла стройная белая кобылица с колокольчиком на шее.

Тонконогая, с длинной гривой, она стояла, чутко подняв красивую голову, и смотрела на нас.

Откуда она могла взяться здесь, в лесу, было совершенно непонятно.

Лошадь заржала и поскакала мимо нас. Зазвенел колокольчик. Мы кинулись за лошадью. Она скоро скрылась, и мы бежали за звоном.

И вот уже под нашими ногами оказалась тропинка, которую мы так долго искали. Тропинка привела нас к обрыву. Под обрывом плескалось озеро и стояла деревня. Силуэтом — церковь с тремя куполами.

Мы сели у обрыва на белый сухой мох.

Нас окружали заросли лилового вереска. Здесь так легко дышалось! Никуда не хотелось уходить отсюда.

А белая лошадь исчезла.

Был уже двенадцатый час ночи, когда мы вошли в деревню.

Деревня спала. Мы прошли по пустынной улице и постучались в первый дом.

Долго не отпирали.

Наконец стукнула щеколда, заспанный мужик, кряхтя и позевывая, остановился на пороге.

— Извините, пожалуйста. Мы из экспедиции. Заблудились в лесу. Нельзя ли у вас переночевать?

— А ночуйте. Места много.

Все так же кряхтя и зевая, он провел нас в пустую комнату.

Едва добравшись до кровати, я повалилась и заснула. Даже не почувствовала, как Сережа снял с меня мокрые ботинки.

В пять часов утра хозяин разбудил нас.

За самоваром выяснилось, что сделали мы вчера крюк километров в десять. Степан Ильич хорошо знал «колдунью» и подробно объяснил, как дойти до деревни Будылгино.

Хозяин торопился на пожню. Мы поблагодарили его за гостеприимство и тронулись в путь.

Теперь-то мы не могли заблудиться: в Будылгино вела единственная широкая проселочная дорога.

Было еще рано. День сумрачный, прохладный. То и дело накрапывал дождь.

У встречного деда мы спросили, где живет Пелагея Максимовна Кузнецова.

Старик показал.

Мы поднялись по высоким подгнившим ступенькам крыльца и постучались.

— Входите, отперто!

Не знаю, что представлял себе Сережа под словом «колдунья». Лично я представляла себе костлявую ста-

рую ведьму с седыми космами волос, крючковатым носом и руками-граблями.

Ничего похожего! Перед нами стояла сухонькая старушка, чистенькая, добрая, с ласковыми голубыми глазами.

— Здравствуйте, бабушка. Это вас зовут Пелагея Максимовна? — с сомнением спросил Сережа.

— Меня, божатки, меня. Проходите, садитесь, сейчас стол оботру.

И не удивилась даже. Словно это для нее обычное дело — принимать по утрам непрошеных гостей.

— Молочка не хотите ли? С брусничным пирогом?

— Спасибо, Пелагея Максимовна, зачем?

— Ну как же — зачем. Небось голодные?

И вскоре мы сидели за столом, покрытым пестренькой клеенкой, и уплетали чудесный брусничный пирог с холодным молоком.

После пирога Сережа приступил к делу.

Начал издалека. Мол, собираем для научной цели устное народное творчество. Собираем песни, былины, легенды, загадки...

Старушка одобрительно кивала.

Меня мучило сомнение — туда ли мы пришли. Я внимательно обводила глазами комнату.

Ничто, ну ни одна деталь не указывала на то, что перед нами жилище «колдуньи».

Самая обычная комната: большая русская печь, деревянный буфет, лавки по стенам. В красном углу кивот — к массивной иконе жмутся несколько маленьких медных иконок.

Стены, как и в большинстве домов, оклеены пестрыми плакатами с изображением жизнерадостных молодцов-трактористов и красавиц доярок.

— Собираем мы еще заговоры, призоры, — продолжал Сережа.

— Так-так, — кивала старушка.

— И вот, Пелагея Максимовна, дошла до нас молва, что вы знаете много заговоров...

— Да кто ж это вам наболтал-то? — удивилась «колдунья».

— Нам многие говорили. И на Колод-озере, и здесь.

— Да бог с тобой, сугревушка, — покачала головой «колдунья», — откуда мне знать?

Минут пятнадцать мы убеждали старуху, что она знает заговоры. Под конец она даже рассердилась:

— Котора фрянка я вам манить буду, коли ницяго не малтаю!

На местном диалекте это означало: «Какого лешего я обманывать буду, коли ничего не знаю».

Тут было что-то не то. Или старушка артистично прикидывалась, или действительно она была не та, за кого мы ее принимали.

Мы извинились и вышли.

Шли по деревне молча. Настроение было отвратительное: стоило забиваться в такую даль, блуждать по лесу, терять столько времени...

На завалинке сидел старик, который и показал нам дорогу к «колдунье». Мы сели рядом с ним.

— Дедушка, это правда, что Пелагея Максимовна знает заговоры? — спросил Сережа.

— Знат-знат. Не так давно парнишка один на вилы напоролся — заговорила ему кровь. От змеиного укуса вылечить может дак. У нас тут змей порато много. Уж как она достигает — не знаю, манить не стану. Однако умеет.

Сережа поднялся на ноги.

— Ну, спасибо, дедушка.

И решительно зашагал к избе Пелагеи Максимовны. «Колдунья» замешивала тесто. Она приветливо посмотрела на нас.

Мы сели на лавку. Как мы ее уговаривали! Мы приводили самые веские доводы. Умоляли, упрашивали, убеждали.

На наш поток красноречия старушка добродушно улыбалась и говорила:

— Что вы, божатки! Ницяго я не знаю.

— Но ведь вы от змеиного укуса заговариваете?

— Дак что ж! Ены, може, и не от слов вылечиваются, а так! Кровь здоровая.

— Значит, слова все-таки были!

— Дак... Под язык пошло, я и сказала.

Мы не уходили. Сережа натаскал целую бочку воды. Я начистила картошки, вымыла посуду.

Старушка [illegible], благодарила, но разговорчивей не становилась.

Я уж [illegible]. А Сережа не сдавался.

— Пелагея [illegible] вы все-таки парню кровь-то заговорили?

— А как же не заговорить, ежели парнишка кровью истекат... Бабка [illegible] Плачет стоит. Ну я и заговорила. [illegible] все. Черноknижие...

Ничего, ну [illegible] не могли мы от нее добиться.

— Я выйду на [illegible] — сказал мне шепотом Сережа. — Может, тебе [illegible]...

...Что с Сережей, что [illegible] — толку никакого. Старушка не сердилась, не раздражалась. Наоборот, словно бы рада была возможности поговорить. Рассказала, что дочь ее работает врачом в Петрозаводске, привозит ей на лето внучат. А вот этим летом не привезла. Уехала с ними в Крым, на курорт.

Скучно без внучат. Любому гостю рада, но вот не ходит к ней почти никто. Новый председатель колхоза мужчина строгий, проводил с ней беседу о том, что «призоры» — это религиозный дурман, пережиток. Конечно, сейчас все по науке, она понимает...

Дверь внезапно распахнулась, и ввалился Сережа. В первый момент я обратила внимание только на

то, что он очень бледен. И только потом я увидела его руку. От локтя до кисти тянулся глубокий порез.

— Дай платок, — сказал он мне, — а то пол испачкаю.

Старушка опешила.

— Там забор, — объяснил Сережа, — я поскользнулся, ну и...

— Батюшки мои, — испуганно забормотала Пелагея Максимовна, — как же это ты? Ах ты!..

— Да вот, не заметил гвоздя. Ничего... Почти не больно.

— Не больно! А сам-то побелел весь. Что ж ты стоишь? Давай руку-то!

— Ну уж теперь, бабушка, заговаривайте кровь, делать нечего! — сказал Сережа вымученно.

Сильными, потрескавшимися от работы пальцами старушка сжала Сережину руку у самого локтя, а другой рукой — у кисти, кровь из раны перестала бить толчками. Испуг за Сережу прошел. Но было интересно, как дальше поведет «представление» Пелагея Максимовна. Она наклонилась очень близко к ране и зашептала.

Вот они, «колдовские» слова, я их потом записала в свою тетрадь:

«Встану благословясь, пойду перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота.

Выйду я в чистое поле, погляжу на восточную сторону. На восточной стороне стоит смоляной дуб. На этом смоляном дубу сидит черный ворон. Вынимает из золотого гребешка шелкову нитку, булатну иголку. Зашивает у раба божия Сергея щипоту, ломоту, рану.

Чтоб не было ни щипоты, ни ломоты, ни раны, ни крови, ни опухоли.

Ни днем по солнцу, ни ночью по месяцу, ни по утренней заре, ни по вечерней заре. Ни в какую пору, ни в какой день, ни в какой час, ни в какую минуту.

Отныне до веку, вовеки по веку.

Кровь стань, боль уймись!»

Кровь... Ну да, кровь остановилась. Чудо? Да какое же чудо! Старушка зажала артерию.

«Колдунья» промыла Сережину руку чаем. На месте пореза остался тонкий розовый след.

Но все-таки одно чудо произошло. Произошло оно с нашей «колдуньей».

Куда девалась ее недоверчивость! Она смотрела на Сережу с уважением. Она все поняла. И без дальнейших просьб усадила нас, сама села напротив и начала диктовать нам один заговор за другим.

[illegible] до позднего вечера и записали четыре заговора.

[illegible] еще поболе сказала, да не помню. Мама [illegible] много знала, а я вот забывать начала [illegible] заговору могу лечить. И зубную боль, и все[illegible]ные — меня еще мама научила, а ее — ба[illegible]. А вот моя доцерь — та уж по науке лечит. И то [illegible], все у меня выспрашивает про народ[illegible]. Тот год двоих профессоров привезла — той[illegible] человеческой медициной интересовались, в тетрадку записывали. Вот я и думаю: может, не прав председатель? Может, и от меня на старости лет какая польза будет?

Когда мы вышли на улицу, народ уже вернулся с [illegible]ожни.

— Манька! А, Манька! — звенел мальчишеский голос. — Бригадир велел в контору зайти за нарядами.

— Зайду-у! — отвечала невидимая Манька.

В дверях клуба висело объявление: «Сегодня фильм «Человек-амфибия».

### ТРОЙКА ЗА ЛЕНИНГРАД

Наша классная руководительница Юлия Васильевна волновалась, где нас поселят: дадут ли места в гостинице или наплыв туристов будет такой, что нас разместят в какой-нибудь школе. Таня

мама, Лидия Михайловна, которая сопровождала нас по поручению родительского комитета, говорила, что это ничего, если даже в школе, лишь бы близко от центра.

— Невский проспект! — произносила она с таким выражением, словно уже в самом этом словосочетании таилась красота.

— Невский — обязательно! — отвечала ей Юлия Васильевна и, в свою очередь, мечтательно произносила:

— Петропавловская крепость!

— Обязательно! — восклицала Лидия Михайловна и тут же предлагала: — Эрмитаж!

Это немного напоминало игру в города или еще другую, под названием «грузим корабль».

Мы все собрались в одном отделении плацкартного вагона. Мимо нас ходили, шныряли, бегали мальчишки и девчонки из других групп — весь поезд был набит школьниками-туристами.

Я смотрела в окно. В темном стекле четко отражалась вся наша компания — три мальчика, семь девочек и двое взрослых. Но я смотрела не на всех, а только на Сережу Кузнецова.

Лидия Михайловна рассказывала про экскурсовода, который был у них несколько лет назад в Суздале.

— Такой замечательный экскурсовод! — вспоминала она с восторгом. — Так он нам все детально объяснял! И эпоху, и художественные особенности.

— От экскурсовода очень многое зависит, — соглашалась Юлия Васильевна.

— А вот для меня, например, — сказала я, — самое интересное — удрать от экскурсовода и самой все осмотреть.

Все удивились — не тому, что́ я сказала, а тому, что я вообще выступила со своим мнением. Я и сама удивилась. Наверно, обстановка подействовала. Уютный домашний халатик Юлии Васильевны придал смелости.

— Ну что ты! — возразила Таня. — Без экскурсо-

вода ходишь — глазами только хлопаешь. А он все рас-
скажет.

— А я не люблю, когда мне рассказывают. Я люблю
сама все прочувствовать. А экскурсовод долбит-долбит:
«Ах, взгляните, какая поэзия красок! Какая музыка
линий!»

Я сознавала, что говорю что-то не то, но не могла
остановиться и добавила:

— Это все равно как на уроках литературы: когда
Ирина заставляет восхищаться образом Татьяны —
меня начинает мутить.

Тут мне показалось, что уютный домашний халатик
Юлии Васильевны — всего лишь маскарадный костюм и
что вот сейчас Юлия Васильевна примет свой обычный
облик учительницы и строгого классного руководителя.

— Нет, Катя, это ты напрасно! — сказала она оби-
женно. — Ирина Ивановна — опытный преподаватель,
и не надо! Не надо! И вообще, говорить в таком тоне об
учителе — бестактно.

Я молча катала по столику мандарин. Остальные
тоже притихли, почувствовав перемену в настроении
Юлии Васильевны. И вдруг Сережа Кузнецов сказал:

— А я согласен с Катей. Я тоже не люблю насиль-
ственной информации. Произведение искусства должно
действовать эмоционально. А когда его разжуют, а по-
том дают разглядывать разжеванные куски — от этого
и вправду мутит.

Я почувствовала, что мои щеки ну просто пылают.
Сережа меня поддержал! Самый умный мальчик из всех
трех восьмых!

Давно уже отспорили про экскурсоводов и говорили
на другие, спокойные темы: об Ирине Родниной и
Александре Зайцеве, о фантастике Стругацких. А я мол-
чала и смотрела в стекло на Сережино отражение.
И в глубине души как будто звенел колокольчик.

Юлия Васильевна зря волновалась — нашу группу

встретили, предоставили два номера в гостинице, недалеко от центра. Каждое утро к подъезду гостиницы подъезжали экскурсионные автобусы. Нас возили по городу, и девушка-экскурсовод очень интересно рассказывала про архитектурные памятники. Мы видели Дворцовую площадь, Марсово поле, Смольный, нас водили в Эрмитаж. В голове моей звучали красивые названия и имена — Советская, Литейный, Росси, Кваренги, Фальконе... Но все, что я видела и слышала, я воспринимала как бы через Сережу. Он был такой умный! Он сказал о картине Рембрандта: «Какая богатая палитра!» — а я не знала, что такое палитра, а спросить постеснялась. Он отозвался об одном зданин: «Чистейший ампир!» И я восхищенно согласилась: «Да-а!» — хотя понятия не имела, что такое ампир. Но раз Сережа так считает, так оно и есть. Колокольчик в моей душе звенел и звенел, и сквозь этот звон каждая фраза, которую произносил Сережа, казалась мне гениальной.

Иногда — это были счастливые минуты! — он обращался прямо ко мне, а однажды, в Русском музее, как-то получилось, мы одновременно отошли от группы и стали ходить по залам вдвоем. Правда, очень скоро нас разыскала Юлия Васильевна и пригнала обратно, как отбившихся гусят. А все же, хоть недолго, мы побывали вдвоем. Мы стояли перед картиной Айвазовского «Девятый вал», и я думала, что с радостью согласилась бы вот так оказаться посреди бушующего моря на обломке мачты, если за этот же обломок будет держаться Сережа. Ну, конечно, с условием, что нас спасут.

В автобусе он обычно сидел за моей спиной, положив руки на спинку моего сиденья, и если бы я откинулась, то могла бы коснуться его рук. Но я боялась откинуться, я готова была вообще сползти на самый краешек сиденья, лишь бы он не убирал рук. Я смотрела на замерзшую Неву, на тонкий шпиль Петропавловской крепости, на спокойных каменных львов, но

видела все это как бы сквозь Сережин профиль, и к... локольчик в моей душе звенел и звенел.

— ...Поднимите руки, кто был в Ленинграде! — сказала Ирина Ивановна. — Так. Будете писать сочинение на тему «Мои ленинградские впечатления». Постарайтесь вложить побольше чувства. Собственного, так сказать, отношения. Объем — две страницы. Предложения старайтесь давать развернутыми, и чтобы не меньше десяти примеров на согласование, управление и примыкание. Задание ясно? Начинайте. Те, кто не был в Ленинграде, пишут «В чем трагедия Печорина». Грамматическое задание то же самое.

...В последний наш ленинградский вечер Юлия Васильевна вдруг сама предложила:

— Пойдемте побродим по вечернему Ленинграду!

Снежинки кружились над конями Аничкова моста. И мне было так жалко, что завтра я уеду от этих коней, от ленинградских вечерних огоньков и ленинградских снежинок, от всего, от всего... У меня было такое чувство, словно я оставляю в Ленинграде кусочек своей души.

И обо всем этом рассказать Ирине? Да еще и чувства вложить в формы согласования, управления и примыкания? Ни за что!

И я пишу:

«На зимних каникулах мы были в Ленинграде. Мы провели там восемь дней. Мы посетили следующие исторические...»

Я леплю фразу к фразе, одну тусклее другой. Отгораживаюсь от Ирины забором из сухих, ничего не выражающих слов. Пишу и посматриваю на Сережу. Мне удобно на него смотреть: он сидит на второй парте у

окна, а я — на третьей, в среднем ряду. Сережа задумчиво грызет ручку. Он-то напишет, как всегда, блестяще. Ему-то что!

...Через неделю Ирина возвращает нам сочинение. У меня тройка с минусом.

— Скучно, сухо, информационно! — говорит Ирина, возвращая мне тетрадь: — Не сочинение, а докладная записка.

Она берет следующую тетрадь и смотрит на Сережу.

— Что с тобой, Кузнецов? — говорит она. — Где чувства! Где собственное отношение к пережитому? Где все это? Можно подумать, что вы сговорились с Катей Ивановой! Возьми тетрадь! Тройка. И то лишь из уважения к твоим прошлым успехам по литературе.

— Ты что улыбаешься? — толкает меня моя соседка Таня.

А я не могу не улыбаться. Губы сами расползаются. Даже в носу щекочет от счастья. Мне хочется заорать, закружиться! Вот сейчас подниму руку и скажу: «Ирина Ивановна! Можно, я вас поцелую?»

Ирина поправила очки, взглянула на часы и сказала:

— Переходим к новой теме. Катя, опусти руку и не вертись. Ничего, дотерпишь до перемены.

## В ТРОЛЛЕЙБУСЕ

Когда мама с папой начинают в соседней комнате говорить вполголоса, для меня это как сигнал к тому, что разговор пойдет о чем-то интересном. Скорее всего обо мне. Поэтому и сейчас я перестала читать учебник анатомии и прислушалась.

— Ты знаешь, я сегодня перебирала свои старые бумаги, — сказала мама, — и обнаружила интересную вещь: список спектаклей, которые я просмотрела в вось-

мом классе. Знаешь, сколько я посмотрела за один только учебный год? Пятьдесят пять спектаклей!

— Ого! — сказал папа.

— Пятьдесят пять! — торжественно повторила мама. — Катька хорошо если раз в месяц выберется в театр.

— Она телевизор смотрит, — сказал папа. — Когда ты училась, у тебя был телевизор?

— Что ты! В нашем классе только у Ленки Ремез был телевизор, да и то самого первого выпуска — помнишь? С маленьким таким экранчиком и с большой мутной линзой.

— Ну вот! А сейчас в каждом доме телевизор. Вчера передавали «Лебединое» из Большого, сегодня — «Проснись и пой» из Сатиры. Так что, если подсчитать, сколько спектаклей смотрит Катька за год, получится не так уж мало.

— Ах, разве можно сравнивать театр с телевизором! — горячо возразила мама. — Мне за Катьку обидно: живет тусклой, неинтересной жизнью. Нет, я в ее годы...

Дальше можно не слушать. Мама села на любимого конька под названием «я в ее годы». По словам мамы, она в мои годы «жила в атмосфере диспутов, творчества и тому подобного», а у меня ничего этого нет.

Да, я непохожа на маму. У нее характер компанейский, деятельный, ей кажется, что если человек в потолице не рисует карикатуры для стенгазеты или не бегает, высунув язык, за каждым прилично одетым прохожим и не спрашивает у него «лишнего билетика», значит, он живет тусклой, неинтересной жизнью. А я ненавижу выпрашивать билетики. Зато когда я забираюсь с ногами в наше старинное, перешедшее еще от бабушки глубокое, обитое клетчатой зеленой материей, мягкое кресло, зажигаю торшер и открываю томик Джека Лондона, Александра Грина или Рэя Брэдбери; нет человека, которому в эти минуты жилось бы так интересно, как мне.

— Плохо выглядишь! — сказала мама за ужином. — Позвони Тане, пойдите, подышите свежим воздухом.

— У Тани сегодня спортивная секция.

— Одна подруга, — сказала мама, — и той погулять некогда. Вот в наше время...

Я застонала.

— Что ты стонешь? — спросила мама.

— Потому что мне надоело! Тебе нравится твое время? Ну и возвращайся в него! А я буду жить в своем времени, хорошее оно или плохое.

Я надела шубу, ушанку, натянула сапоги.

— А рейтузы? — спросила мама.

Но я уже захлопнула за собой дверь. Мама тут же открыла дверь и гулко крикнула мне вслед в лестничный пролет:

— Вернись! Без рейтуз ты никуда не пойдешь!

Я помчалась вниз через две ступеньки. Весь подъезд должен слышать о моих рейтузах! Да что она?!

Дверь наконец захлопнулась. Кажется, на ближайшее время с ценными указаниями покончено.

...Люблю зимние вечерние троллейбусы — полупустые, с заиндевевшими мохнатыми белыми стеклами. Люблю сесть у окна, продышать или протаять ладонью прозрачный кружочек, прильнуть к нему глазом и смотреть, как медленно проплывают мимо светящиеся окна, машины, прохожие. В троллейбусе тепло, и я никуда не тороплюсь.

Я обычно сажусь в троллейбус «Б» и еду по Садовому кольцу. Еду и еду, пока кольцо не замкнется и я не приеду на свою собственную остановку. Мама думает, что я гуляю, «дышу свежим воздухом». Хотя где она отыскала свежий воздух в нашем районе, да еще на Садовой, где от грохота машин не слышишь собственного кашля? Неважно, пусть думает как хочет. Это моя тайна, моя игра.

Не троллейбус медленно ползет по заснеженному Са-
довому, а Машина Времени летит в будущее. И уже пас-
сажиры — не пассажиры, а экипажи. Мои спутники по
Врёмени, мои товарищи. И когда кто-то сходит на своей
остановке, я смотрю на них с грустью, прощаясь с ни-
ми, потому что они уходят навсегда. Это у нас на
Машине так и называется — «сойти на своей Остановке».
Рано или поздно все сойдут. Только я одна, сделав
полный круг, вернусь обратно. Кто-то ведь должен вер-
нуться?

Остановка. Прощай, старый профессор, прощай, бо-
родач в дубленке, прощай девушка в очках. Новые спут-
ники возникают из Времени. Кто они? Кто сядет рядом
со мной? Только бы не эта толстая тетка с сумкой, на-
битой апельсинами. Тут много не нафантазируешь. Нет,
села впереди. А со мной рядом садится парень в се-
рой кроличьей ушанке с опущенными ушами, в бежевой
куртке из кожзаменителя. Прежде чем сесть, он секун-
ду с интересом разглядывает меня. По-моему, это не
обидный, а очень естественный интерес к человеку, ря-
дом с которым ему предстоит путешествие. Я смотрю
прямо перед собой, но при этом вижу, что у него сим-
патичное, приветливое лицо.

Он уселся поудобнее, достал из плоского чемоданчи-
ка книгу, обернутую газетой, раскрыл и погрузился в
чтение. Я скосила глаза на страницу и прочла: «Тогда
Аэлита заговорила, точно дотронулась до музыкального
инструмента, — так чудесен был ее голос...»

И я поняла, что рядом со мной сидит человек с род-
ственной душой.

*...Его зовут Грэй, он командир нашего экипажа. Мы давно уже любим друг друга, но разные обстоятельства — ПОТОМ ПРИДУМАЮ какие — пока мешают нам быть вместе.*

И вдруг взрыв! Вышло из строя автоматическое управление и Машина вдруг помчалась со страшной скоростью не вперед, а назад, в Прошлое! Всеобщая паника, и только мы спокойны. Наконец-то мы вместе, а это — главное.

Пещера. Догорает костер. Нас остается все меньше и меньше. Отсюда, из этого каменного века, таким прекрасным кажется Наше Время! Нам не дожить до него. Но наши дети, внуки, правнуки... Правнуки наших правнуков доживут. О, как им долго добираться до Наших дней! Им предстоит идти по Времени пешком, ведь Машина Времени сломана. Она может двигаться только назад, в Прошлое. Грэй и те, кто еще остался с нами, чинят ее вот уже много лет. Но мало надежды на успех.

...Растут наши дети. Они сидят у костра на шкуре мамонта, и я рассказываю им о своем Времени. О глубоком, мягком бабушкином кресле под торшером, о книгах, о телевизоре...

Поздно ночью возвращается от Машины усталый Грэй. «Ну что?» — спрашиваю я его взглядом. «Пока все так же», — отвечает он тоже взглядом. Мы давно уже понимаем друг друга без слов.

...Идут годы, и уже дети моих детей слушают у костра легенды о летающих крылатых машинах, о движущихся изображениях, о волшебных ящиках, которые умеют петь и разговаривать. Внуки запоминают эти легенды, чтобы передать своим внукам.

...Уже никого не осталось из тех, кто начинал путь вместе с нами. Только Грэй и я. Уже никто не верит, что можно починить Машину, и только Грэй упрямо ищет неисправность.

Поздно ночью он возвращается. Седая борода закрывает ему колени. Годы согнули его спину. Но для меня он все так же красив, как в молодости, и в его взгляде, устремленном на меня, все та же любовь.

*— Нашел, — говорит он однажды. Мы полетим не вперед, а назад по кругу Времени и замкнем этот круг на той минуте, откуда начали свой путь...*

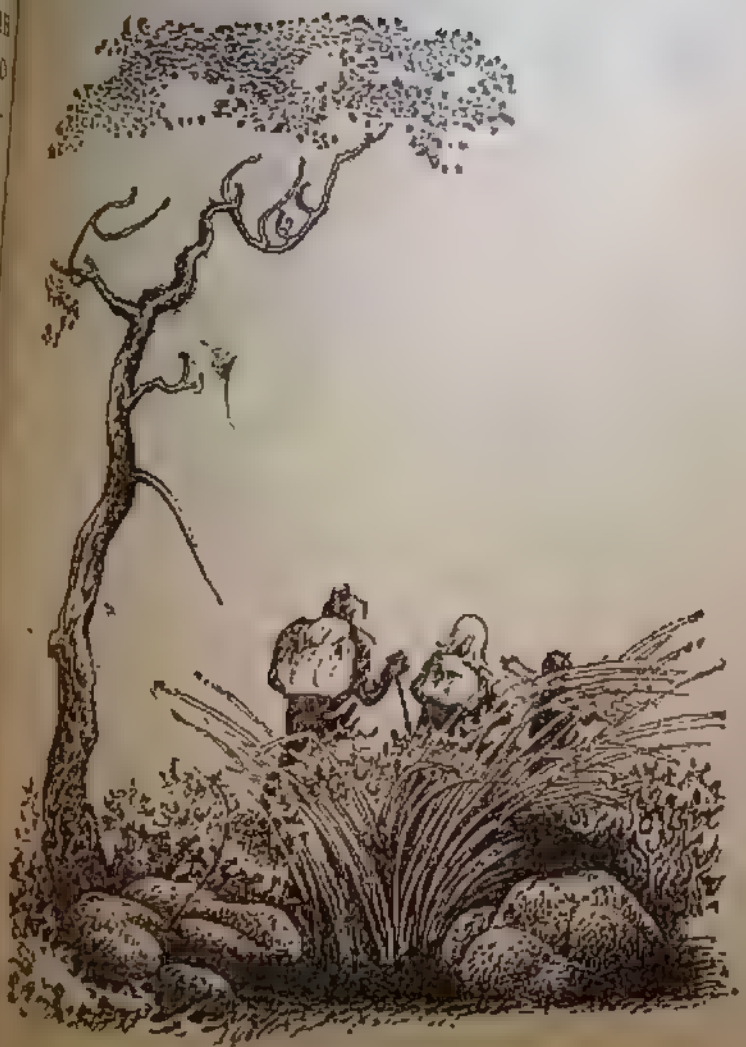
Парень захлопнул книжку, положил ее в чемоданчик, встал и направился к выходу.

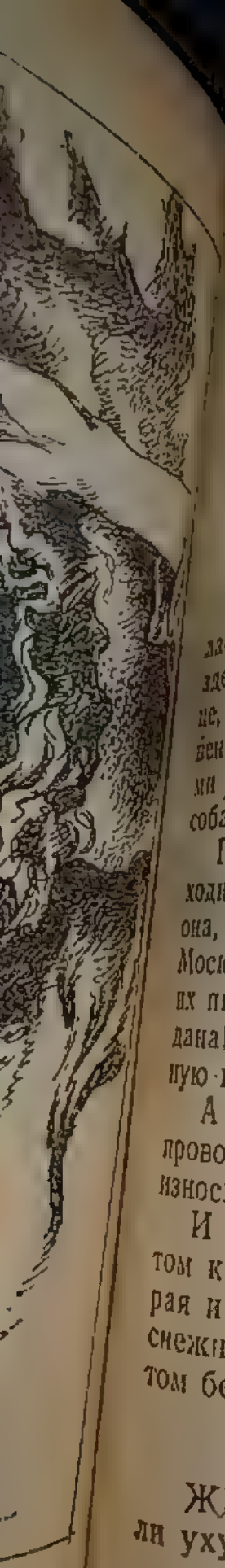
*...«Куда ты?! Не уходи, Грэй!» — «Прости. Пришло Время. Мне нужно сойти на своей Остановке. А ты возвращайся». — «Без тебя? Нет!» — «Прощай!».*

Остановка. Двери раскрываются, парень сходит. Троллейбус идет дальше. Я прихожу в себя и замечаю, что плачу. По-настоящему плачу — слезы так и бегут по щекам. Что это было? Сон? Игра? Не знаю... Главное, я жила в эти минуты так интересно, так ярко — ни один спектакль, ни один фильм не мог бы мне дать ничего подобного. Наверно, потому, что я жила своей собственной жизнью, хоть и придуманной, но своей.

Троллейбус мягко покачивается, я смотрю в протаянный кружочек. Вот Крымский мост. Вот парк культуры. Кольцо замыкается. Вот и моя остановка. Я выхожу. Вернулась в свое время. Падает снег...

# ПОВЕСТЬ





## «ЛОТОС-ЧЕТЫРЕ»

Геологическая база расположилась в поселке, где когда-то был золотой прииск. Теперь здесь было тихо, малолюдно. На широкой пыльной улице, на большом расстоянии друг от друга стояли бревенчатые избы с маленькими палисадниками, за которыми росли березки. По улицам бродили добрые лохматые собаки.

Поселок лежал на берегу Алдана. Таня часто приходила на берег и каждый раз удивлялась тому, что это она, Таня Белоусова, видевшая в своей жизни только Москву-реку да Клязьминское водохранилище, где был их пионерлагерь, стоит теперь на берегу Алдана — Алдана! — и может окунуть руки в его обжигающе холодную воду.

А ведь, кажется, совсем недавно на уроке географии проводила указкой по голубому хвостику на карте и произносила: «Приток Лены — Алдан».

И когда она это произносила, где-то далеко, почти на том краю земли, все так же текла эта широкая, быстрая и в то же время спокойная река. И так же белели снежные сопки с тонкими черными прожилками, и на том берегу лежала густая, но не страшная тайга.

Ждали, пока соберется вся партия. Рыбачили, варили уху, работали — складывали конвертики для шли-

хов. По вечерам собирались у костра, пели под гитару. На гитаре играл симпатичный черноглазый Костя Симоняи, студент-вечерник. У него осталась дома жена, и он все волновался, ждал телеграммы о рождении сына или дочки.

Начальник отряда Гена Ширяев мало походил на начальника. У него были светлые, начинающие редеть волосы и странные глаза — такие пронзительно блестящие, что казалось, будто они предназначались для другого, более волевого лица. Было ему лет тридцать пять, и он как-то обмолвился, что две его дочки поручили ему собрать гербарий из таежных растений.

Бывший студент Сашка Матвеев, самоуверенный, с длинными волосами, с крестиком на серебряной цепочке, выставленным напоказ, рассказывал не без бравады, что его исключили из института за то, что он не согласился снять этот крестик, врал с серьезным видом, что умеет узнавать мысли на расстоянии, предсказывать будущее, сыпал скабрезными анекдотами. И Таня со страхом думала: вдруг именно с ним ей выпадет ходить в маршруты? Лучше бы с Володей Лисичкиным, застенчивым очкариком. Уж его-то опасаться нечего.

Женщин в отряде было трое — инженер-геофизик Наталья Сергеевна, которую все называли Наташей, потому что в свои тридцать шесть лет выглядела очень молодо; Таня, которая всего месяц назад окончила школу, и эффектная девица по имени Юля.

— Это что за кадр? — спросил Костя, впервые ее увидев.

— Наш техник Глебова, — ответил Гена. — А что? Не нравится?

— Вульгарная, — заметил Костя.

И правда, что-то вызывающее было во всем Юлином облике, в морковного цвета длинных ногтях, в оранжевых очках-консервах, закрывающих чуть ли не полнолица.

Но очки на третий день сломались, морковный лак

облез, и Юля стала проще и милее. У нее были зеленоватые глаза, красивое, слегка измученное косметикой лицо и веселая располагающая улыбка.

И вообще Юля оказалась свойской девчонкой. Таня в нее просто влюбилась.

Когда собралась партия, начали ждать вертолет, а он не мог пробиться сквозь низкую облачность. Перевал был закрыт.

На четвертый день туман над сопками растаял, кедровый стланик распушился, и зазвенели комары. Ваня Терехов, радист, связался с базой, ему сообщили, что вертолет ждет погоды, чтобы вылететь на базу и перевезти геологов к месту работы, на участок Солнечный.

В это утро все писали письма, чтобы отправить их с пилотами на базу. И прислушивались: не гудит ли?..

Таня устроилась под лиственницей, у самой кромки аэродрома. Прямо перед ней — неширокая взлетная полоса, окаймленная низкорослым березовым кустарником, а вдали поднимаются высокие сопки, поросшие хвойным лесом.

На поляне перед аэродромом ворохом свалены вещи, привезенные с прошлогоднего «лабаза» — склада, который геологи перед возвращением на Большую землю оставляют в тайге, чтобы не тащить с собой лишний груз. Юля опытным взглядом осматривала привезенное хозяйство и оттаскивала в сторону все, что могло пригодиться: ржавую, помятую печку, трубы от нее, закопченные чайники, кусок брезента, эмалированные тазы, оленьи шкуры... Таню она посадила стеречь вещи.

— Прямо неудобно, Юля! Зачем нам столько?

— Еще чего — неудобно. Мы не залабазим — другие утащат! Нам нужнее, мы женщины! Будешь ушами хлопать — без печки останешься.

— Да ведь выдать должны и печку, и все.

— Прямо выдадут! Жди!

Вертолет показался со стороны перевала. Он завис

над аэродромом, как бы остановился в воздухе; потом сел.

Таня подошла к вертолету. Спереди вся кабина застеклена, так что пилоты видны целиком — с ног до головы. Вертолет был зеленый, только сбоку тянулась белая широкая полоска сажи, идущая из выхлопной трубы.

Рядом с Таней остановился Витя Рощин, техник, коренастый парень с насмешливыми, быстрыми глазами.

Он покосился на Таню и сказал:

— Два года назад у нас был такой же вертолет, и ребята каждый раз писали пальцем по саже какое-нибудь слово. В последний раз, помню, было написано: «Костя дурак». Пилота Костей звали. Разбился.

— Все погибли? — спросила Таня каким-то не своим, сдавленным голосом.

— Все, — спокойно ответил Рощин. — Начальник отряда, два пилота и трое студентов.

И вот по железной ярко-красной лестничке в три ступеньки Таня поднимается в кабину вертолета. Ей страшно, и она злится на Витю Рощина, который перед самым отлетом рассказал эту ужасную историю. А он уже в кабине, посматривает на нее хитрющими глазами.

В вертолете — инструменты, мешки с картошкой, ящики с макаронами, сгущенкой, консервами.

Пилот захлопнул дверцу. Сквозь круглые иллюминаторы Таня увидела тех, кто еще оставался на перевалочной базе, они стояли у кромки аэродрома и махали улетающим.

Вертолет загудел, задрожал, по иллюминаторам побежали тени. Винт закрутился, и провожающие вдруг — словно их, как Нильса, заколдовал гном, — стали маленькими-маленькими. Они стояли на том же месте и так же махали, но превратились в гномиков.

Вертолет поднялся, повисел-повисел и пошел над базой, набирая высоту и скорость. Не качался, не проваливался, а, ровно стрекоча, пилил и пилил в нужном направлении.

В кабине было уютно. И запах не как в самолете, там какой-то свой, самолетный, словно искусственный запах. А тут пахло обычно, и было не душно.

Таня приникла к иллюминатору. Внизу проплывала тайга — негустой лиственничный лес, вершины сопок, на которых кое-где еще лежал снег, речушки, ручейки.

Иногда вертолет попадал в полосу облачности, и землю затягивало дымкой. И тогда казалось, что вертолет не летит, а плывет где-нибудь в океане и серые мутные волны обволакивают его. А потом внизу опять прояснялось, и Таня смотрела и смотрела, изумляясь огромности и безлюдности проплывавшего под ней пространства.

— Вот здесь мы работали в прошлом году! — крикнул Гена, сверившись с картой. — Видите этот красный мох? Не дай бог ходить по такому! Он как болото.

...Но вот под ними маленький пятачок среди леса и крохотные фигурки встречающих, тех, кто прилетел сюда раньше, чтобы вырубить среди тайги посадочную площадку. Таня увидела рабочего Лешу Базарова, который сидел на краю площадки с киноаппаратом в руках, снимал приземление. От работающего винта по земле побежал ветер, густой кустарник пошел волнами, а у Леши от ветра сорвало с головы капюшон.

Не дожидаясь лесенки, все спрыгнули вниз. Таня тоже спрыгнула и замерла от необычайности пейзажа.

Справа — крутой скалистый склон сопки, вокруг — невысокие лиственницы и ползучие лапы кедрового стланика. Карликовые березки. Что же придало всему этому сказочную необыкновенность?

И вдруг Таня поняла: мох! Такого она еще никогда не видела. Он был удивительного цвета — бело-голубого. Казалось, он светился, как фосфорические стрелки часов в темноте. Ноги утопали в нем по щиколотку и оставляли вмятины, и Тане было жалко ступать на него, примнять эту красоту. Все вокруг заросло этим чудесным мхом.

— Что это? — спросила Таня.

— Ягель, — ответил Гена, улыбнувшись ее восторгу. — Что, нравится? Я уж привык, не замечаю. А в первый раз тоже... Я даже домой его взял немного, высадил на балконе. Ничего, живет. Он очень неприхотливый.

Так вот он какой, ягель! Тот самый, которым питаются северные олени, добывают его зимой, разрывая снег копытами.

А она, когда проходили географию и учили про ягель, и не представляла, что это за красота!

Протаптывая в мху узкую тропинку, цепочкой бредут рабочие, сгибаясь под тяжестью мешков и ящиков. Таня тоже ухватила было мешок, но Юля сказала:

— Этого еще не хватало! Положи, не надрывайся.

— Но ведь я тоже рабочая! — возразила Таня.

— Не бойся, без работы не останешься. Тяжести пускай мужики таскают, а мы тут не для этого.

— А для чего же?

— Для облагораживания! — ответила Юля и засмеялась.

Захватив только рюкзаки и спальники, они прошли метров двести, отделяющие посадочную площадку от лагеря. Здесь уже стояло несколько палаток. У костра шуровал повар Алексей Алексеевич, пожилой, лысый, с морщинистым загорелым лицом. Костер трещал, над ним на железной слеге висели котелок и ведра. А рядом — дощатый стол с двумя скамьями по бокам, на столе миска с баклажанной икрой, хлеб толстыми ломтями. Таня с удовольствием подумала о скором ужине.

Подошел Ваня Терехов:

— Девчонки, вон там мы вам палатку поставили. Видите, под той лиственницей.

И Таня еще раз удивилась, что все за них делают мужчины.

Палатка была натянута на сруб из трех венцов, и в ней можно было стоять во весь рост.

Наташа ушла с Геной обсуждать план работы на участке, а Юля с Таней принялись устраиваться. На нары положили по куску толстого войлока, на войлок — оленьи шкуры, — вот она, Юлина предусмотрительность! А уж на шкуры положили спальные мешки, и сверху — байковые одеяла.

Неожиданно начался дождь, и в палатке сразу стало сыро и холодно. Потемнело, только ягель по-прежнему светился, даже ярче, чем раньше. Он словно и в самом деле фосфоресцировал.

— А ты меня попрекала, что я вещей много набираю! — заметила Юля. — Что бы мы сейчас делали без печки? А ведь я еще и пару грелок прихватила! Ценишь меня теперь?

— Ценю! — жалобно согласилась Таня.

Юля вышла и вскоре вернулась с Геной. Тот занялся печкой. Вырезал в боковой стенке палатки квадратик брезента, пришил жестяную разделку с прорезанным посередине отверстием и вывел наружу трубу. Притащил с берега ручья плоских камней и поставил на них печку, очистив пол от мха. И затопил.

Печка сразу же задымила. Гена еще долго с ней возился, ему помогали Костя и Саша, которые, по Юлиному выражению, «приползли на тепло». Сама Юля лежала под одеялом, положив на ноги обе грелки.

А дождь не прекращался. Наоборот, становилось все холоднее, небо стало свинцовым — и вдруг повалил снег!

Да, снег в середине июня, да такой, что за какой-нибудь час покрыл весь ягель и все шел и шел, пригибая к земле ветки стланика.

— Пошли играть в снежки! — предложила Юля.

И они играли в снежки и лепили снежную бабу, а снег все падал и падал крупными хлопьями, и казалось, что эти хлопья превратятся сейчас в белых кур, как в сказке про Снежную королеву.

Это было настоящее чудо — зима среди лета! Сопки

побелели, вершины их скрылись в дымке. Ветки лиственниц покрылись тяжелыми снежными сугробиками. А сверху все падал, и крыши палаток уже прогибались от тяжести этого мокрого снега, и время от времени кто-нибудь из ребят бил палкой по стенкам палатки, чтобы стряхнуть снег с крыши. И только когда замерзли ноги в резиновых сапогах, вернулись в дымную, но жарко натопленную палатку, скинули сапоги и придвинулись поближе к печке.

— Вот так участок Солнечный! — сказала Наташа. — Что-то неприветливо он нас встретил...

— Теперь надолго засели, — подтвердил Костя. — Не меньше чем на неделю.

Костя пел, подыгрывая на гитаре, старую песенку. Всех слов он не знал, это была песенка не из его, Костиного, детства — про то, как девушку из маленькой таверны полюбил суровый капитан. Песенка была из детства Наташи, и она слушала умиленно и подсказывала слова.

Саша Матвеев сидел на складном стульчике и большим охотничьим ножом с костяной самодельной ручкой вскрывал банку со сгущенкой. Поставил открытую банку на стол и начал растапливать печку. Уложил лучинки шалашиком, взял из угла журнал «Вокруг света», пущенный на растопку, хотел вырвать страницу и вдруг возмутился:

— Пробросаетесь! Через месяц, как читать нечего станет, вспомните этот журнальчик!

— Это тебе нечего станет читать, — возразила Юля. — А я Моэма взяла — «Бремя страстей человеческих» и «Новый мир» с Айтматовым.

— Дай почитать! — встрепенулся Сашка.

— Дам, если не будешь выпендриваться.

— Сашка, холодно! — напомнила Наташа.

Он положил журнал на стол, а в печку сунул пустую

сигарстную пачку. Огонь занялся, Саша подкинул пачку коротких лиственничных поленьев и закрыл дверцу. Там, внутри, загудело, застреляло. Саша поставил чайник и начал перелистывать спасенный журнал.

— «Каждый год с попутными ветрами из далеких африканских стран...» Как там дальше, Наташа?

— «Белый бриг, наполненный дарами...» — с удовольствием подсказала Наташа.

— Спиши мне потом слова, — сказал Костя.

Юля, лежа на животе и укрывшись байковым одеялом, раскладывала карты на бубнового короля. Распустила по плечам богатые свои волосы, как будто отгородилась ими от всего окружающего. В ногах у Юли, на краешке нар, сидел Гена и смотрел невидяще, как смотрит человек в минуту душевного покоя.

Саша зажег свечу, капнул стеарином в жестяную баночку из-под сайры, приклеил. И сразу наступил вечер. Все-таки есть что-то в этом палаточном неуюте: чайник посвистывает, закипая, в печке дровишки потрескивают, на столе кружки и миска с сахаром, хлеб нарезан крупными ломтями. Таня лежит, закинув руки за голову, а на груди у нее книга корешком вверх. Ремарк: «Тени в раю».

Бревенчатый сруб и печка придают палатке сходство с избушкой.

Над печкой сушилка: две перекладины, а на них деревянные планочки решеткой. Очень удобная штука: придешь из маршрута — есть где высушить носки и ботинки.

Пазы сруба заделаны ягелем, чтобы не дуло в щели, пол из тонких бревнышек. В углу нечто вроде шкафчика, гордо именуемое сервантом, — приколоченный к столбику ящик от посылки, где хранятся запасы — сгущенка, сайра, фаршированный перец — для скромных вечерних пиршеств.

В женскую палатку сходились каждый вечер — на

кружку чая, на Костины песни и просто для того, чтобы посидеть в компании.

Они уже многое успели узнать друг о друге, и им еще многое предстояло узнать — полевой сезон только начинался.

Вот уже неделю как они тут живут. Сегодня к вечеру наконец-то разошлись тучи, и светлая июньская ночь заглянула в палатку через откинутые створки.

— Такую ценность чуть не растопили! — проворчал Саша, перелистывая журнал «Вокруг света». — Эксперимент болгарских и советских океанологов. Пятнадцать дней прожили в подводном доме! Тут целая статья. Небось не читали даже.

— Читали, — сказал Володя Лисичкин, близоруко щурясь на огонек свечи.

— У меня отец водолазом работал, — сказал Сашка. — В молодости. У меня вообще все предки исключительно интересные люди.

Предки были предметом Сашкиной гордости, он и сейчас свел разговор на них, рассказал, как его какой-то там прапрадед приехал в Россию из Швеции, чтобы быть записанным в Голубую книгу.

— Ну, пошел вырубаться, — заметил Костя.

— Что это за Голубая книга? — спросила Таня.

— Такая специальная. Туда самых прославленных записывали. А что? Ничего не вырубаюсь. Я считаю, что предков своих каждый должен знать. Вот у тебя, например, — обратился он к Тане, — кто были предки?

— Не знаю, — ответила Таня. — Мама у меня кассиршей на вокзале работает, а отец — инструктор собаководства.

— А, — сказал Сашка, — это родители, а не предки. Вот у меня...

И он принялся рассказывать про своего двоюродного прапрадедушку по материнской линии.

Наташа несколько лет не выезжала в поле из-за детей. И она забыла это удивительное чувство свободы от быта, от мелких забот, которое происходит в поле. Ее городская жизнь, как жизнь многих семейных женщин, была заполнена этим бытом с утра до ночи, каждый день полон нескончаемых забот — о детях, о муже, об уборке, стирке, обеде, покупках; все эти мелочи требовалось держать в памяти, а в результате приходилось забывать о чем-то главном: о своей жизни вообще.

В юности обо всех мелочах думали за нее родные, а она была свободна для больших душевных потрясений, счастья или страдания. Но постепенно произошло измельчание этих эмоций. Порой ей начинало казаться, что мелочи, которые заполнили ее быт, и есть жизнь. И что жизнь эта идет не по прямой, а по кругу. И вот теперь, когда круг был, пусть на время, разорван, Наташа испытывала счастливое чувство возвращения к самой себе.

Вот так лежать на толстой оленьей шкуре, чувствуя спиной твердые, плотно пригнанные бревнышки нар, и каждой клеточкой тела ощущать, что тебе хорошо, спокойно, что тебя окружают доброжелательно настроенные к тебе люди, а главное — в этой тесной палатке так просторно мыслям. Ты можешь вглядеться в себя, погрузиться в какое-нибудь воспоминание и сызнова, не торопясь, пережить пережитое...

Юля гадала на бубнового короля. Выходила дальняя дорога, казенный дом, на сердце — трефовая дама. И еще какие-то неприятные хлопоты.

Бубнового короля звали Виталий. И вряд ли стоило на него гадать. Все и без карт ясно. Он даже не пришел в аэропорт проводить ее.

Последнюю ночь перед отъездом она провела у него на даче. Строили планы встречи. Он тоже уезжал в экспедицию. Могли бы поехать и вместе, она ведь не свя-

зана постоянной работой. Поссорились — они последнее время часто ссорились, и она назло поступила сюда. А когда помирились, нельзя было ничего изменить. Как-то не получилось. У нее все в жизни получается как-то не так.

Эта последняя ночь на даче была очень грустной. Виталий мечтал, как в конце сезона они встретятся в Хабаровске, как они проведут там время до возвращения в Москву.

А ей хотелось спросить: а потом? Потом-то что? Снова просить у подруги ключ от комнаты, снова ждать удобного момента, когда у него никого не будет дома или когда ее мать уедет в отпуск? Но Юля не спрашивала, потому что знала, что у него сразу станет растерянное лицо и он снова постарается уйти от ответа. Не может он сделать решительного шага. Боится огорчить своих родителей, которые привязаны к его жене и сыну, боится огорчить жену, которая, в сущности, ничем перед ним не виновата. Не хочет лишиться привычного, удобного семейного уклада, то есть и себя тоже не хочет подвергать житейским испытаниям.

Он только ее, Юлю, не боится обидеть. А она любит его? Теперь уж нет, пожалуй. Но с ним связаны два года ее жизни. Ей страшно потерять его. Она к нему привыкла. И ей хочется замуж. Ведь ей уже двадцать шесть лет, это естественно.

Последняя их ночь на даче была грустной еще и потому, что в комнатке наверху спал пятилетний мальчик, его сын, которого Юля никогда не видела. Он был нездоров, просыпался, звал папу. Виталий вставал и шел наверх и, когда возвращался, то еще какое-то время был не с ней, а там, наверху, со своим ребенком. И в эти короткие мгновения она ясно понимала, что так оно и будет всегда, что этот мальчик так и будет стоять между ними.

Но Виталий снова обнимал ее, и она забывалась и верила, что они все-таки будут вместе, ну, не скоро, но

все-таки будут. Ведь для этого и надо-то всего уйти от нелюбимой женщины к любимой. Ведь это даже низко в какой-то степени — оставаться с нелюбимой, а любимую заставлять мучиться.

По-настоящему вместе они были всего три месяца, когда работали на Азовском побережье: он — начальником отряда, она — техником в его отряде. На следующий год он уехал в поле один: она пыталась — и безуспешно — поступить в Институт иностранных языков. И дальнейшие их отношения развивались под эту вот фразу: «Надо что-то придумать». Вот и в эту ночь она не удержалась, спросила:

— Что же дальше-то, Виталька?

Он ответил, как всегда:

— Надо что-нибудь придумать, ласточка.

И она вдруг ясно поняла: дальше — ничего. И взорвалась:

— Ты думаешь, я стану сидеть на привязи и ждать, пока ты соизволишь что-нибудь придумать? Не надейся! Или решай сейчас, или...

— Тише, — он посмотрел наверх.

Она села на тахте, закурила. И тогда, не глядя на нее, он произнес:

— Что решать-то, Юля? Я ведь и так люблю тебя. Это как наваждение. Но... жена — это человек, которому доверяешь, а ты... Если честно... Ты уж прости меня...

Ей захотелось ударить его, закричать, выплеснуть злость. Безвольный тип! Тряпка! Наслушался родственничков!

И вдруг они оба вздрогнули от неожиданно близко прозвучавшего детского голоса:

— Папа! С кем это ты разговариваешь?

Мальчик стоял на винтовой лестнице, ведущей прямо в их комнату. Юля успела увидеть только босые ножки на ступеньке. В тот же момент Виталий накинул на Юлю одеяло, закрыв ее с головой, и стремительно поднялся.

— Я ни с кем не разговариваю, Юрик, тебе показалось!

Он взбежал по лестнице, подхватил мальчика на руки и унес в детскую.

Юля медленно высвободилась из-под одеяла. Она редко плакала, а тут не могла удержаться. И оттого что плакать надо было беззвучно, чтобы не услышал ребенок, слезы были особенно горьки и мучительны.

На пододеяльнике чернела дырка, прожженная сигаретой.

Вот и вся память, которая о ней останется в этом доме.

Она тихонько оделась, прислушиваясь к голосам наверху. Виталий запел песенку про волшебника в голубом вертолете. Она усмехнулась сквозь слезы, испытывая в душе самую обыкновенную зависть к малышу, которого утешают, которого любят без всякого там наваждения... И будут любить всегда, открыто и просто. А ее, Юлю, любят тайно, как будто в любви к ней есть что-то постыдное.

Она отворила скрипнувшую дверь и вышла из дома в сад. Стволы яблонь были аккуратно обмазаны известью. Прошлогодние листья собраны в кучи. Бочка для дождевой воды, выкрашенная в зеленый цвет, стояла под сточным желобом, где ей и надлежало стоять. Участок дышал ухоженностью и порядком. Для каждой вещи было свое место. Только она была тут чужой.

Калитка мягко закрылась за ней. Юля перекинула через плечо ремешок сумки и зашагала по тропинке к шоссе, к остановке автобуса. Было очень рано, ей предстояло около часа ждать первого автобуса. Но она надеялась, что Виталий побежит догонять ее.

Не доходя до шоссе, она отыскала удобный пенек, села, вынула из сумки целлофановый мешочек с лосьоном, пудрой, карандашиком для век, тушью для ресниц, зеркальцем и расческой и стала приводить себя в поря-

док. Оставаться красивой — в этом ее сила. Ее единственное оружие.

Оружие, которое вдруг ударило по ней же.

Собственная привлекательность, которую она осознала очень рано, давала ей обманчивое ощущение власти над людьми и легкости существования. А легкость-то оказалась мнимой.

Проучилась два года в техникуме — и бросила. Английские курсы тоже не закончила. Отвлекали вечеринки, романы — тут она была сильна.

Подруги закончили техникум, а некоторые уже и институт, обзавелись семьями.

Но Юле казалось — она живет интереснее: каждую весну она устраивалась в какую-нибудь экспедицию. Тут она чувствовала себя на своем месте. И когда возвращалась домой — с деньгами, с обилием впечатлений, с очередным романом, — ей казалось, все ей должны завидовать.

Жила она с мамой и отчимом в Реутове, под Москвой. У них там был собственный домик. Мама и отчим в ее дела не слишком вмешивались, да она и нечасто бывала дома.

На зиму устраивалась куда-нибудь в тихое место — вахтером при общежитии, сторожем при фабрике. Такая работа не очень обременяла, оставляя много свободного времени. Так она дотягивала до весны, чтобы снова махнуть куда-нибудь в тайгу и жить на полном дыхании.

Виталий не появлялся.

Она сложила в мешочек туалетные принадлежности, спрятала в сумку, поднялась.

В последний раз взглянула в ту сторону, откуда он мог появиться. Потом повернулась и решительно зашагала к шоссе. Она шагала навстречу новому отрезку своей жизни, который ничем не будет связан с прошлым. Она как бы отрезала и выбросила прожитый кусок. Сколько уж она их повыбрасывала.

Она шла легким, пружинящим шагом, у нее были

стройные, крепкие ноги, привыкшие к маршрутам. Рюкзак собран, билет на руках, и пропади пропадом все, что осталось за спиной. Она ничем не связана — все к лучшему. И она шла, высоко подняв голову, во всеоружии своих прищуренных зеленоватых глаз и неповторимой своей улыбки, которой она улыбалась елям, березам, нежаркому утреннему солнцу и своим надеждам.

Чайник на печке закипел. Гена снял его, поставил на стол и заварил чай экспедиционным способом — просто всыпал в чайник полпачки чая и прикрыл крышкой доходить.

Юля собрала карты и положила их на самодельную полочку в изголовье нар. Это у нее был вроде как персональный туалетный столик, покрытый калькой, концы которой были отогнуты вниз, придавая сходство с беленькой скатеркой. На полочке стояли баночки и пузырьки, несессер с маникюрными принадлежностями и лежал толстый роман «Бремя страстей человеческих», который Юля читала не торопясь, экономно, чтобы хватило надолго.

— Трефовая дама у него на сердце, — сообщила она, садясь на нарах и потягиваясь.

Гена следил за ней затаенно-внимательным взглядом. Значение этого взгляда Юля хорошо понимала и ответила Гене улыбкой. Она знала, что нравится ему, и даже знала, что между ними уже завязались особые отношения, еще не заметные никому, кроме нее. Вряд ли и сам Гена о них догадывался. Он ей нравился. К тому же он был начальником, это тоже импонировало Юле. Она с интересом выжидала.

Костя включил транзистор. Передавали сообщение ТАСС: у Владимира Ляхова и Валерия Рюмина сегодня сто третий день работы на борту «Салют-6» — «Союз-32».

— Сто третий день в космосе! Не представляю, как бы я смог, — сказал Костя.

— А другие не представляют, как это мы в тайге пять месяцев живем, — заметила Наташа.

— Сравнила — космос и тайга! Здесь простор, воздух и вообще...

За стенками палатки прошелестели шаги, брезентовая створка откинулась.

— Эй! К вам можно?

Витя Рощин, приземистый, коренастый, в резиновых охотничьих сапогах с отворотами, в намокшей брезентовой куртке с надвинутым на лоб капюшоном, шумно, как медведь, ввалился в палатку.

— Ни черта нет, — сказал он, ставя в угол карабин. — Все звери разбежались. Вертолетов испугались и ушли. Ого, как у вас тепло! Чаю дадите?

Он налил себе из чайника и сел к Тане на нары. Таня застенчиво поджала ноги.

— В прошлом году случай был в отряде, — начал Витя, прихлебывая из кружки, — радист пошел на белок поохотиться. Взял с собой берданку. Идет берегом реки, и вдруг ему навстречу выбегает медведь. Радисту бы в воздух пальнуть — медведи резкого шума пугаются. А он возьми да и выстрели дробью в медведя. Тот как заревет — и на него. Радист в реку. И медведь за ним. Радист нырнул — и не выныривает. А медведи — они нырять не умеют. Поискал-поискал его на поверхности воды, потом вылез на берег и ушел. Мы потом спрашивали радиста, сколько времени он под водой просидел. Говорит — не знаю, я бы, говорит, и сутки просидел, до того испугался.

— Интересно, в этих местах есть медведи? — спросила Таня.

— Полно! — ответил Витя и подмигнул Гене. — Притаились, ждут, когда ты в маршруты начнешь ходить. Молодыми девицами любят закусывать.

— Нет, правда!..

— Что ты ее пугаешь, — засмеялся Гена. — Не бойся. Это случаи исключительные, когда медведи нападают. Вот со мной, помню, было на Камчатке. Расположились на ночевку. А я в палатке один спал. Вдруг слышу сквозь сон: «Фр-р-р!» А у нас олени были. Ну, я и подумал, что это олень. Привстал, схватил ботинок и по носу гостю — стук! И опять спать. Через некоторое время опять слышу: «Фр-р-р!» Я опять ему ботинком по носу: «А ну, пошел!» А тот как заревет! Обиделся! Я фонариком посветил — матушки! Медведь! Это он запах варенья почуял, у меня варенье стояло в палатке. Я в темноте ружье схватил да от волнения уронил его прямо в таз. Таз зазвенел, и мишка был таков.

Витя начал рассказывать, как два года назад пришлось ему принимать роды у поварихи в Воркутинской области, зимой, в балке, и как он принимал ребенка.

— Слушай, п-перестань, — попросил Костя, у которого осталась в Москве беременная жена.

Таня подумала, что Витя Ронин обладает особым даром рассказывать свои истории удивительно не к месту.

— Я не хотел, чтобы она меня провожала, — сказал Костя. — Ей уж и ходить стало трудно. Д-дурак, не разрешил... Теперь как вспомню ее глаза... Грустные такие...

— Ничего, Костенька, — сказала Юля. — Зато через пять месяцев вернешься, а она у тебя опять стройненькая, и ребеночек подрастет.

— А мне все равно, с-стройненькая она или нет. П-представляете, мы с ней семнадцать месяцев расписаны, а вместе были только шесть. Она почвовед. МГУ закончила. Умная знаете какая! Г-гораздо умнее меня. За что она только полюбила меня, не по-нимаю.

— За то, что ты хороший человек, Костенька, — сказала Юля, адресуясь не столько к Косте, сколько к Гене, который молча сидел рядом. — Вон вы как ухаживаете за нами.

— Конечно, ведь вы женщины, — ответил Костя. — Вам труднее, чем нам. Нам-то, мужикам, что, нам даже приятно за вами поухаживать.

— Женщины в геологических партиях нужны только для того, чтобы мужчины не слишком дичали, — изрек Витя Рощин.

— Ну да! — обиделась Юля. — Мы работаем не хуже вас.

— Да какая там от вас работа. Вот у нас в прошлом году случай был: студентка осталась одна в лагере, дежурить. А все в маршрут ушли. Вот она сидит на пенечке, письмо, что ли, пишет. Вдруг подняла голову — к ней из зарослей медведь. На задние лапы поднялся — и на нее. Она обмерла. Пошевелиться не может. Столбняк на нее нашел. Медведь ее обнюхал, потрогал лапой — и ушел.

— Ну и что?

— Ну и то. Пришлось спецрейсом ее в больницу, а оттуда домой. Нервишки отказали.

— Да тут бы и у тебя отказали, — сказала Юля.

— Ну да! На моем счету их знаешь сколько? Семь штук!

Наташа сказала:

— Давайте сегодня слишком долго не засиживаться, ребята, а то завтра тяжело будет на гору лезть.

— Чего там т-тяжело! — возразил Костя. — Вот когда мы на двухсотке работали — т-там, правда, т-тяжело: по тридцать, по сорок километров в день вышагивали. И то ничего. А тут — ерунда.

— Для тебя, может, ерунда, ты тренированный, а для Тани не ерунда: это ее первый маршрут. И для Саши.

— Что-о? — обиделся Сашка. — Для меня? Вот эти сопки? Да у меня разряд по альпинизму! Я каждый год на Памир езжу, на сборы! Для меня эти сопки вообще! Вот завтра я вам покажу класс!

— Завелся, — сказал Костя. — Д-давайте лучше что-нибудь споем.

«Завтра, — думала Таня. — Завтра... А если не дойду? У Сашки разряд по альпинизму, остальные — тренированные... А я?..»

Костя пел:

В небе не видел звездный сьст,
В небе просвета даже нет,
А под ногами не паркет,
А в основном вода.

Но согревает нынче нас
Этот смешной и странный вальс,
И вопреки всему горит
Наша звезда...

«А может, ничего? Никто не волнуется. Чего же мне волноваться? Подумаешь — на гору влезть...»

...И вопреки всему горит
Наша звезда.

Впереди шла Наташа с мотком медного провода и рулеткой. За ней вышагивал на своих ногах-ходулях Саша Матвеев с карабином через плечо — на случай встречи с медведем. Леша Базаров, студент музыкального училища, нес теодолит на треноге. За ним, шаг в шаг, опустив нос к земле, брела Найда, черная в рыжих подпалинах лайка, привезенная из поселка. Взяли ее, чтобы ходить с ней на охоту, но на охоту ходили мало, и собака сразу стала лишней вроде. Одни Леша с ней возился, и собака платила ему привязанностью. Спала возле его палатки и всюду ходила за ним. Леша, пожалуй, ни с кем тут и не дружил, кроме своей Найды. Он разговаривал с ней, и она смотрела на него умными глазами, и выражение морды у нее было такое, будто она улыбалась.

За Найдой брела Таня. Ей ничего не досталось нести, и она шла налегке, с беспокойством поглядывая на при-

ближающуюся сопку, на вершину которой ей предстояло забраться. Вблизи она выглядела еще круче, чем издали.

Нет, не для нее эта полевая жизнь. Если бы не ссора с мамой, никуда бы она не поехала, подала бы документы в педагогический и спокойно готовилась к вступительным экзаменам.

Нет, но мама-то, мама!

— Уж и не знаю, Танюшка... Вроде хороший человек Федор Матвеевич. Вдовец. Сын у него в армии. Посоветуй — как?

Тон нерешительный, а сама небось давно все решила.

— Да ну его, мама! Не хочу!

— Мне сорок два, — сказала мама. — Может, это счастье мое, попробую все сначала. Тебе-то я ведь скоро не нужна стану. От силь ходь-ва, и ты отрезанный ломоть.

Ох, как это горько — знать, что ты отрезанный ломоть. И такая обида на маму! Ведь обещала когда-то, что ни за кого... Ну ладно!

И она не стала подавать в институт. Узнала, что в аэрогеологическую экспедицию набирают рабочих, и устроилась на сезон.

Мама уговаривала не ехать, ни к чему ей, девушке, в такую даль, неизвестно с кем. Таня только усмехалась. Мама суетилась, бегала по магазинам, искала ей ботинки, костюм спортивный с начесом, уговаривала меховую ушанку взять, а Тане казалось, мама рада ее отъезду, хочет спровадить ее поскорее.

Так и уехала с обидой на маму. Не поцеловала даже на прощанье, и мама так горько плакала, словно прощалась с дочкой навсегда.

Да ведь так оно и было. Вернется Таня, а мама вроде та, да уж не та.

Она шла, продираясь сквозь цепкие ветки карликовой березки, сквозь заросли кедрового стланика, усыпанного молодыми шишками. Перепрыгивала через уз-

кие, но быстрые ручейки и заранее волновалась, что ст. станет и все будут ее презирать.

— Ты тут до конца сезона останешься? — спросила Леша.

— Нет, до сентября.

— Я тоже. Мне в училище надо.

— А ты на каком инструменте учишься? — спросила она.

— На виолончели. Я сюда подзаработать приехал...

Подъем стал круче, и Таня почувствовала, что ей не до разговоров. Не хватало дыхания.

— Хочу магнитофон купить и транзистор, — говорила Леша. — А у тебя дома есть магнитофон?

Таня не ответила. Сердце к самому горлу подступило. Она обливалась потом. Ноги в сапогах спеклись. А тут еще комары зверствовали. Все же Таня подняла сетку накомарника, потому что под сеткой душно, а сердце и так уже готово выскочить из горла. Серые камни-«бульники» уходят из-под ног, замедляют и без того медленный шаг. Лечь бы и отдышаться, но тогда все уйдут далеко вперед, и она может заблудиться.

Сквозь слезы усталости она смотрела вслед идущему Леше, зеленая куртка его уже едва была видна за зелеными ветками стланика, и только по движению этих веток да по торчащему теодолиту можно было понять, в какую сторону идти. Окликнуть — стыдно!

Она все тяжелее переставляла ноги и смотрела прямо перед собой, чтобы не видеть вершины и лишний раз не ужасаться.

Так вот что такое маршрут! Это даже труднее, чем она думала. И так — каждый день?!

Она делала шаг, и ей казалось, что шаг этот последний, что сейчас она упадет и будет лежать, глотая открытым ртом воздух. Но вслед за тем она делала еще шаг и еще, перелезала через липкие, сучкастые стволы, чувствуя, как пот и слезы заливают ей лицо.

Впереди затрещали ветки. Сашка спускался к ней.

Лицо скрыто за черной сеткой накомарника. Синий свитер облеплен комарами.

Сашка пошел рядом. Не смеялся. Сказал только:

— Ты, когда делаешь вдох, считай до четырех. А потом — резкий выдох.

Где уж там до четырех. Только бы он шел рядом, не оставлял одну.

— Ты не торопись. Потихоньку иди, но и не останавливайся. Выравнивай, выравнивай дыхание.

И она шла потихоньку. Иногда Сашка сворачивал вбок, чтобы выбрать склон поположе. А потом наступил последний подъем, самый крутой, весь в осыпи мелких камней.

Она считала шаги. Досчитает до двадцати, и вдруг камни из-под ног, и она уплывает шагов на девять вниз.

— Ты траверсами, — посоветовал Сашка.

Она не знала, как это — траверсами, а спросить сил не было.

— Давай руку, — сказал Сашка. Она послушно протянула ему руку, и он потащил ее в гору.

Вот она наконец, вершина. Площадка, откуда начнется разбивка профилей. Возле палатки, в которой жили рабочие-горняки, горел костерок; над ним на палке висел закопченный чайник. Юля раскладывала на газете хлеб, сахар, колбасу. Таня почти упала на землю. Опустила голову, чтобы скрыть красное, такое, наверное, некрасивое сейчас лицо. Но никто вроде на ее вид особого внимания и не обратил. Только Серега, рабочий, заметил:

— Комаров-то на тебе! Согнала бы!

А она не чувствовала никаких комаров. Сидела, глотала воздух, не в силах руки поднять.

Юля протянула ей кружку с чаем и большой кусок колотого сахара.

— Пей, птенчик! Знаешь, помогает. Это ты с непривычки. Потом легче будет.

— Через месяц будешь классно ходить, — сказал Сашка. — Под моим руководством. Гарантию даю.

Она с благодарностью на него посмотрела. Сашка сидел возле вырытой канавы, на отвале из сухого серого щебня. Он был такой, как всегда, и не такой. Изменился не он, а Танино отношение к нему. Сашка больше не казался ей бахвалом. Ведь ему и сегодня, наверно, хотелось выделиться, первым взобраться на вершину, чтобы показать, какой он ловкий. А он пришел последним, чтобы помочь ей.

Вершина сопки заросла ягелем, кустиками незрелой еще голубики. Таня наконец отдышалась, поднялась на ноги и подошла к краю площадки. Далеко внизу белели крохотные палатки лагеря, от кухни тянулся дымок. И была видна крошечная посадочная площадка, а сбоку от нее десятиместная палатка — склад. И так хорошо стало Тане! Все-таки поднялась на вершину! Смогла! Только одно тревожило: вот так — каждый день?..

Наташа, установив теодолит, указывала направление, по которому должен идти профиль. Саша с Лешей тянули мерную ленту. Таня ставила пикеты. Эта работа показалась ей пустяком по сравнению с подъемом на вершину.

Разметили один профиль, а потом, оставив теодолит и другие инструменты под кустиком, — никто же не возьмет! — отправились в обратный путь.

Всю дорогу Сашка шел рядом и хвастал напропалую: и по фехтованию-то он первое место в Москве занимал среди юношей, и по верховой езде чуть ли не мастер спорта, и по бегу у него второй разряд.

Но Таня уже Сашку поняла: он только казался трепачом, а по сути был настоящим парнем.

Юля была уже в лагере. Уютно устроилась на своих нарах, разложила пилочки, щипчики, щеточки — занялась собой. Щипала брови, красила ресницы, меняла прическу.

— Зачем, Юля? Ты и так красивая!

— Чтобы быть в форме, птенчик!

Навела лоск, села, скрестив ноги, закурила, воткнув сигарету в длинный мундштук.

— Ох, девчонки, кого бы охмурить?

— Да ты кого угодно охмуришь, — сказала Наташа.

— Кого угодно не хочу. Надо, чтобы нравился. Посоветуйте, а? Витю Рощина, что ли? Подъезжает он ко мне со страшной силой. Даже неинтересно. Мальчишки еще зеленые, скучно.. А может, Гену?

— Ну тебя, Юля, — смутилась Таня. — Вечно у тебя такие разговоры — ужас просто!

— А ты слушай, птенчик, учись! — хохотала Юля. — Вот влюбишься, небось запоешь по-другому!

— Не запою.

— Запоешь, запоешь! Никуда не денешься! Нет, серьезно, мне Генка нравится. Может, взяться за него, а? Вроде и он не против.

— Неправда! Гена знает какой?

— Ну какой, какой?

— Он для дочек гербарий собирает!

— Ох, птенчик, гербарий! Да пусть собирает, вот насмешила! Гербарий еще никогда этому делу не мешал!

Она хохотала, глаза ее сияли. Ах Юля, можно понять парней! Хороша, ничего не скажешь! Соскочила с нар, обняла Таню, затормошила:

— Ну что ты, птенчик? Обиделась? Брось, я смеюсь! Нужны они мне все! Сейчас Костя придет с гитарой, споем. Ну, улыбнись, птенчик!

Наташа смотрела в глазок теодолита, командовала Леше Базарову:

— Левее! Еще левее! Теперь чуть правее! Хорош!

Леша ставил вешки, размечал магистраль. За ним ходила Найда как привязанная.

Таня и Саша ставили пикеты. Профиль шел через непролазные заросли, круто поднимался вверх и так же круто спускался вниз. Пикеты нужно было ставить через каждые двадцать метров. В одной руке Таня тащила мешок с пикетами — тоненькими дощечками с заостренными концами, чтобы легче втыкать в землю. Другой рукой держалась за мерный провод, стараясь не пропустить узелок, означающий место пикета. В самых крутых местах Саша втягивал Таню наверх на этом проводе.

Обе руки у нее были заняты, и поэтому комары ели ее поедом. Накомарник Таня оставила в лагере, помня, как тяжело дышать через сетку, когда взбираешься на гору. Теперь она ругала себя. Когда у нее на минуту освобождалась рука, Таня проводила ею по лицу, она размазывала комаров, как густую кашу. А когда втыкала пикет, на нем оставались следы крови. Диметилфталат ничуть не помогал — он действует до первого пота, а с Тани, наверное, уже десять потов сошло, пока они добрались до конца профиля. День был теплый, чуть пасмурный, время от времени начинал даже накрапывать дождь. Самая жизнь для комаров.

А когда шли через заросли березы, а она растет на влажном, топком мху, из-под которого так и веет сыростью, — Таня готова была разреветься. Дурнота подступала, казалось, комары уже высосали всю кровь. Даже лихорадило.

Зато когда профиль взбирался на вершину горы, покрытую сухим ягелем, наступало временное облегчение: ветер отгонял кровососов.

Самое приятное — закончив разбивку заданных профилей, вернуться на ту вершину, где живут горняки, разуться, посидеть у костра.

Тихо вокруг. Так тихо, как бывает только в тайге. Сейчас бы услышать гул вертолета.

Давно уже были написаны письма, и даже по второму и по третьему разу. Толстенная их пачка скопилась

в палатке у радиста, он не ходил в маршруты и в случае прибытия вертолета мог передать письма пилотам и взять у них почту. Пилоты не ждут: оставят груз и улетят.

А все-таки каждому хотелось быть в лагере, когда прилетит вертолет. По причине совсем пустяковой: услышать ровный гул над головой, увидеть в небе медленно ползущую стрекозу, испытать радостную встряску и броситься бежать к посадочной площадке, махать вертолету руками, поздороваться с пилотами, увидеть их чисто выбритые улыбающиеся лица.

Костер горел очень жарко: в него подбрасывали сушняк — толстые, серовато-белые, причудливо изогнутые куски дерева. Вода в котелке быстро закипела, в нее засыпали четыре пакетика супа и банку мелко нарезанного колбасного фарша. А хлеб в этот раз был мягкий, свежевыпеченный — повар Алексей Алексеевич постарался. Он иногда даже пончиками баловал.

Разулись, чтобы дать отдых ногам.

Наташа сказала:

— Саша и Таня! После обеда возьмите магнитометр и отработайте размеченный профиль.

Их теперь часто называли вместе, не вкладывая, впрочем, в это никакого особого смысла: просто работали в паре.

Пообедав, рубщики отправились дальше прорубать магистраль, а Таня с опаской подошла к магнитометру. Еще когда жили на базе, Наташа показывала ей и Саше, как обращаться с прибором, но сейчас Таня вдруг испугалась, что все забыла и что у нее ничего не получится.

Она взяла магнитометр — он был чуть побольше фотоаппарата, навинтила на пластмассовую треногу. Треногу надо было прочно утвердить на земле, потом установить нивелир — воздушный пузырек посредине маленькой капсулы с водой. Потом открыть рычажок и заглянуть сверху в глазок-окуляр. Там, внутри, шкала с

делениями, и по этой шкале берется отсчет с точностью до одной десятой деления.

Вот и все, но Тане стало страшно, что она возьмет отсчет не по той риске, — их там три, а брать надо по средней, иногда верхняя и нижняя не видны. Вдруг она перепутает? А иногда шкала и вовсе уходит из поля зрения, и тогда надо подкручивать шкалу грубого диапазона и устанавливать на поль, пока шкала в объективе снова не появится. Куча мелких действий, которые нужно запомнить и проводить последовательно. Не дай бог что-нибудь такое там перекрутить.

У догорающего костра валялся чей-то накомарник — наверно, кто-нибудь из рубщиков оставил. Таня надела его, опустила сетку до плеч.

Потом она долго и старательно устанавливала треногу над нулевым пикетом. Наконец, подняв сетку накомарника, заглянула в объектив. И растерялась, потому что не увидела никакой шкалы. Так и эдак нагибала маленькое круглое зеркальце, приделанное к прибору, чтобы шкала лучше отражалась, — ничего не отражалось! Шкала исчезла!

— Саша, посмотри ты, — попросила она.

Он подошел, отвел рычажок, который Таня от растерянности, конечно, забыла отвести, и насмешливо взглянул на нее.

— И куда у тебя стрелка обращена? На юг! А должна быть все время обращена на север. Эх, ты!

Он щелкнул ее по затылку и повернул прибор в нужном направлении.

— Саша, может, лучше ты пойдешь с прибором, а? — робко предложила Таня. — А я — с журналом.

— Ничего, ничего! — ответил он. — Учись давай, тренируйся. Успеешь с журналом.

Он обращался с ней как с маленькой, хотя они тут были на равных — оба рабочие. Но это только казалось, что на равных. Он во всем разбирался лучше, чем она, и она не обижалась.

Пошли. Саша впереди, отсчитывая шаги, она за ним. Отсчеты нужно брать через каждые пять метров, устанавливать треногу так, чтобы она стояла прочно, а попробуй установи ее прочно на крутом спуске, среди сыпучих камней. А еще хуже, когда идешь через березовый стланик — он тугой, пружинистый, как проволока. Сплошная, упруго сплетенная сеть. Хватает треногу и держит.

— Двадцать четыре и пять, — диктует Таня. — Двадцать четыре и два... Двадцать три и ноль.

Потом все эти цифры превратятся в волнистые графики, и, может быть, обнаружится аномалия. Хорошо бы найти аномалию. Но сейчас Таня думает не об этом, а только о том, как бы потверже воткнуть треногу, поточнее установить нивелир.

Последний замер на последнем пикете. Таня в изнеможении садится на [illegible].

— Саш, за сколько мы прошли?

Он взглянул на часы:

— За час сорок.

— Не так уж много, правда?

— Для первого раза нормально. Ну, отдышалась? Пошли. А вон и наши в лагерь возвращаются.

Наташа с Витей Рощиным спускались с горы, о чем-то переговариваясь.

— Таня! — окликнула Наташа. — Ну-ка иди сюда.

Таня подошла.

— Ты что же это делаешь, голова садовая! — сердито сказала Наташа. — Я же предупреждала, чтобы во время работы с магнитометром о накомарниках забыть!

Таня вспомнила: действительно, Наташа говорила, что, когда ходишь с прибором, нужно отдавать напарнику все металлические предметы — нож, часы, компас. И накомарник тоже, потому что у накомарника полы шляпы надеты на металлический обод. И значит, вся

работа, которую они сегодня проделали, псу под хвост! Показания приборов неправильны!

— Я забыла... — пробормотала Таня.

— Давайте все заново! — приказала Наташа.

Рощин ободряюще подмигнул:

— Первый блин комом.

И они с Наташей ушли вниз, в лагерь.

Слеза нависла на кончике носа. Небось все уже в лагере. Юля давно навела красоту и лежит с книжкой, покуривает...

Саша сказал:

— Ты должна научиться управлять своими эмоциями. Тогда тебя ничто не будет огорчать.

— Как это — управлять эмоциями?

— А так. Вот я, например. У меня никогда не бывает плохого настроения. Когда я чувствую, что оно подступает, я плюю в форточку. Правда, теперь это не так хорошо действует, как раньше, но это потому, что раньше мы жили на шестом этаже, а теперь на втором.

Таня засмеялась.

— Ну а здесь-то как же? Здесь ведь и форточки нет?

— А ты с вершины сопки. Даже интереснее!

От Сашкиных дурацких рассуждений настроение и впрямь стало получше. Он взял прибор, а ей передал журнал и все металлические предметы. В том числе и злосчастный накомарник, который она натянула поверх своего.

И они зашагали в обратном направлении.

В лагере около костра, над которым варился ужин, сидел Володя Лисичкин и возбужденно рассказывал:

— Сижу перед ручьем, породу промываю. Один. Кстя вверх по ручью ушел. Вдруг слышу, за спиной вроде бы шорох. Оборачиваюсь — а на меня из кустов медвежонок смотрит. Высунул мордашку и уставился. Я вско-

нул, лоток в мешок сунул вместе со шлихами — и лёру в лагерь.

— Эх ты, медвежонка испугался! — поддразнил повар Алексей Алексеевич.

— Да не медвежонка! Я медведицы испугался! Она небось тоже неподалеку была!

Вскоре и Костя вернулся, возбужденный, взъерошенный: он нашел следы звериной трапезы, свежие медвежьи следы и слышал мычание медвежонка.

— Эх, жалко, ружья не взял! — сетовал Костя. — В предыдущие дни брал, а сегодня, как назло, не взял!

Гена, ответственный за технику безопасности, всех собрал и предупредил, чтобы ружья теперь все с собой брали в маршруты. Но в медведей чтобы не стрелять. Строго-настрого. Только в воздух — отпугнуть. А то подранишь — хуже будет.

На берегу ручья рабочие разбили четырехместную палатку, настелили пол, поставили печку, обложенную камнями, лавки по стенам, бочку с холодной водой, шайки. Двускатный тент — предбанник: напарился — отдохни на бревнышке. Перед входом — костер, а на нем — вода в большой железной бочке. Натопили печь, заглянули в женскую палатку:

— Идите мойтесь! Готово!

Ну не рыцари?

— А еще говорят, геология — не женская профессия, — заметила Наташа. — А я нигде так не ощущаю себя женщиной, как в поле. Вспомню эти сумки хозяйственные, очереди, толкотню — вот когда я забываю о том, что я женщина. А здесь я просто расцветаю, честное слово! Палатку поставить — мужчины, печку затопить, кофе сварить... И вот, пожалуйста, баньку соорудили. Нет, геология—самая что ни на есть женская профессия!

— Девчонки, гудит! — сказала Юля, откладывая пилочку для ногтей.

Наташа подняла голову, прислушалась.

— Тебе показалось.

А через минуту все трое явственно услышали: гудит! Ах, этот гул, эта музыка приближающегося вертолета, эта песня Большой земли! Наконец-то письма! Газеты! Журналы!

Они вскочили и помчались к посадочной площадке. И все, кто был в лагере, — все бежали со счастливыми ждущими лицами. Вертолет вез продовольствие, и горючее, и то главное, ради чего они так торопились.

Когда Таня прибежала к площадке, вертолет уже висел в нескольких метрах от земли. От его вращающегося винта был такой ветер, что далеко вокруг пригибались кусты. Таня тоже пригнулась, закрыла лицо руками. Винт еще не кончил крутиться, а уже все бежали к кабине, кричали пилотам:

— Почту привезли?

Пилот улыбнулся и сказал, что привезли и что почта в верхнем ящике, в папке.

Ящик бережно вынули из кабины, папку достали, развязали тесемочки. И сразу на верхнем конверте Таня узнала мамин почерк и схватила с жадностью письмо. А вокруг раздавалось:

— Витька, тебе! Матвеев, тебе! И еще тебе!

— А вот мне!

— Пустите! Дайте посмотреть!

Эта ждущая радость, с какой берешь в руки конверт, подписанный родным почерком, конверт, опущенный тебе прямо с неба! Предвкушение счастливой минуты, когда забьешься в уголок и начнешь с упоением читать и перечитывать, — что может быть лучше?

Оба пилота молча ждали, когда разберут письма и начнут разгрузку. Не торопили. Знали, что присутствуют при самом радостном событии, какое может быть у геолога в поле. Наверно, и они любили эти минуты и то-

...же были по-своему счастливы, как могут быть счастливы ...люди, дарящие другим радость.

С вертолетом прибыл пассажир. Неуверенно ступая ...на тоненькие перекладины лестнички, спустился на зем...лю грузноватый немолодой человек в геологической ...куртке, которая совсем не шла к его незагорелому ли...цу и большой благородной лысине. Все с любопытством ...на него уставились, забыв на время о письмах.

— Это кто? — шепотом спросила Таня у Наташи.

— Физик из Дубны. Рабочим устроился на время от...пуска. Романтики захотелось. А что? Нормально. Канди...дат наук, между прочим Александр Никитич зовут.

Лицо кандидата наук выражало растерянность и ...старательные попытки скрыть эту растерянность. Ни на ...кого не глядя, он взвалил на спину один из привезенных ...мешков и потащил не в ту сторону. Ему свистнули — ...мол, не туда! — и он послушно побрел обратно, скособо...чась под тяжестью груза.

Положив мешок на место, человек снова почувство...вал себя не при деле. Нести больше было нечего — весь ...остальной груз разобрали ребята. Приезжий сделал не...сколько неуверенных шагов к палаткам, услышал ругань ...одного из рабочих и испуганно отпрянул в сторону, вид...но, приняв эту ругань в свой адрес.

Вокруг перекидывались шутками. Юля кокетничала ...с пилотами. Пилоты были свои, знакомые, и только этот ...новый приезжий явно чувствовал себя ни к селу ни к ...городу. Наконец он вспомнил о висящем на его плече ...киноаппарате. Обрадованно снял его и направил на вер...толет.

Пилотам предложили остаться на часок, отобедать, ...но они отказались.

— У нас сегодня еще три рейса.

И вот уже заревели моторы, винт закрутился, тяже...лая красно-синяя стрекоза поднялась, обдав ветром про...вожающих, и полетела дальше.

Костя письма не получил. А он так ждал!

— Бессовестная Катька, — сказал огорченно и побрел к палаткам.

И Таня в душе согласилась: правда, бессовестная. Знала бы, как Костя ждет!

До ужина не работали — жадно листали журналы, газеты.

— Глядите-ка, Дин Рид в Москву приехал, — сообщил Сашка.

— Где, покажи! — подошла Юля. — У-у, какой он тут симпатичный, правда, Саш?

— На, держи, можешь в рамку вставить.

— А в Академии художеств выставка Рериха, — сказал Костя. — Катькин любимый художник. Без меня пойдет, жалко.

Володя Лисичкин любовно изучал программу телевидения за прошлую неделю:

— В ту среду «Что? Где? Когда?» было! Ух ты, а в четверг «Очевидное — невероятное»! Мои самые любимые передачи.

— А я бы сейчас даже мультики с удовольствием посмотрела! — мечтательно сказала Таня.

После ужина Гена велел всем недолго остаться и здесь же, у костра, провел беседу по технике безопасности. Напомнил, что нельзя оставлять непогашенными костры и окурки. Рассказал, как вести себя в тайге, если заблудишься: надо оставаться в том месте, где заблудился, и ждать. Костер жечь. В лагере заблудившегося ждут сутки: это контрольный срок. Через сутки начинаются поиски. Объяснил, в каких случаях следует стрелять, а в каких не следует.

Рядом с Таней стоял новоприбывший кандидат наук. Таня наблюдала за ним сбоку. «Вот это уже что-то интересное, — говорило его лицо. — Что-то такое эдакое, геологическое».

И все же вид у него был оробелый. Ему, по-видимому, казалось, что с минуты на минуту его начнут подразнивать, подтрунивать над его возрастом, над его лы-

синой, которую он, впрочем, скрыл под матерчатым пестрым картузиком с пластмассовым козырьком. Он, казалось, набирался решимости постоять за себя, но не представлял, как это делается.

После беседы Володя Лисичкин уселся за обеденный стол, включил «Спидолу», поймал английскую речь и обратился к Александру Никитичу:

— Вы владеете английским?

— Владею, — застенчиво ответил тот.

— Свободно понимаете? Ух, здорово! Что это там говорят?

Александр Никитич перевел. Пока что никто не подразнивал. Он недоверчиво поглядывал то на одного, то на другого.

Взяли волейбольный мяч и пошли на посадочную площадку. И Александр Никитич потянулся за всеми.

Играть он не умел, все время промахивался, но охотно бегал за мячом. Юля спросила его про киноаппарат, и он ответил, что, кроме киноаппарата, привез еще и фотоаппарат, и магнитофон. Магнитофоном заинтересовались, вернулись в лагерь, и, счастливый всеобщим вниманием, но еще зажатый от смущения, Никитич, как его уже дружески все называли, принес в палатку девчат маленький магнитофон и кассеты.

— У меня в основном серьезная музыка, — виновато сказал он, вынимая магнитофон из футляра, бережно ставя его на стол и крохотным ярким фонариком высвечивая названия на кассетах. — Вот органный концерт Баха, вот Шопен...

Серьезную музыку послушали, а потом все-таки попросили Костю сходить за гитарой. И Костя долго пел свои любимые песни. Тане особенно понравилась одна:

Трещат смолистые поленья
Под закопченным котелком,
И синие ложатся тени
На снег пушистый под окном.

Вокруг свечи полоски света
Дрожат в табачной синеве.
И смотрит женщина с портрета,
Напоминая о Москве...

А потом Никитич преподнес всем приятный сюрприз: оказалось, что он записал Костин голос на магнитофон.

— А у вас еще много пустых кассет? — спросил Костя.

Александр Никитич ответил, что, к сожалению, нет ни одной и что даже вот Костин голос он записал на уже записанный концерт Чайковского в исполнении Клиберна.

При этом Александр Никитич застенчиво улыбнулся, как бы давая понять, что концерт Чайковского ничто в сравнении с Костиными песнями, что не стоит об этом и говорить.

В шесть утра и в шесть вечера радист Ваня Терехов выходит на связь. Палатка его рядом с женской, и утром девчата просыпаются от Ваниных позывных:

— Лом-восемь, я — Лотос-четыре. Прием, прием!

Юля каждый раз ворчит: спать не дает Ванька, будит за час до подъема. Ворчит, но внимательно слушает, не передаст ли «Лом-восемь» что-нибудь интересное?

На этот раз «интересное» было передано во время вечерней связи. Ваня откинул полог женской палатки, где Таня чертила графики профилей.

— Кости у вас нет?

— Нет, — ответила Таня. — А что?

— Сын у него родился, три шестьсот, рост — пятьдесят два! Только что радиограмму принял!

Таня взвизгнула, выхватила из Ваниных рук радиограмму и кинулась в палатку, где жили Костя и Саша.

Костя и Саша играли в подкидного.

— Костя! — закричала Таня. — У тебя сын! Три шестьсот, пятьдесят два!

Она думала, Костя вскочит, заорет от радости. А он сидел ошарашенный и побледневший и хлопал растерянно глазами. И вдруг схватил радиограмму, выскочил из палатки и молча пошел к лесу.

— Я же говорил, что у него будет сын, — констатировал Сашка.

Юля была разочарована Костиной реакцией. Ей хотелось более бурного проявления радости. А Таня подумала, что и она бы на Костином месте не запрыгала, не кинулась всех обнимать, а тоже ушла бы в лес, чтобы пережить счастливую весть в одиночестве.

Сашка схватил ружье и начал пулять в воздух, салютовать в честь Костиного сына. И вскоре все уже знали, что у Кости Симоняна родился сын.

И конечно, после ужина все собрались у девчат в палатке, чтобы отпраздновать событие. Но прежде Костя, вернувшийся из леса, долго и мучительно сочинял ответную радиограмму. А все ему помогали.

— «Спасибо за сына», — сочинял Костя. — Ну, что еще-то? Подсказывайте!

— Поздравляю! Люблю! Целую! — подсказывали ему со всех сторон.

— Не буду я писать «люблю». Она и так знает, как я ее люблю! — упирался Костя.

— Ну и что? Все равно надо! Ей будет приятно!

— Ну ладно. Только тогда без «целую». Просто: «Люблю, жди».

— Вот еще — «жди»! — возмутился Ваня Терехов. — При чем тут «жди»? Вычеркни!

Наконец общими усилиями радиограмма была составлена.

«Спасибо за сына, поздравляю, счастлив, люблю, целую — Костя».

Ночью шел дождь и утром тоже. В маршрут не пошли — запрещено техникой безопасности. Сидели по палаткам. Таня печку топила. Наташа рассказывала о спектакле «Гамлет», который она смотрела на Таганке. Дождь то прекращался, то снова шуршал по палатке. Юля сказала:

— Девчонки, что я узнала! Кандидат наук-то наш стихами балуется! Я сегодня его блокнотик нашла возле нашей палатки. Сунула нос — интересно же все-таки, а там стихи. «Судьба в тайгу забросила меня», и что-то там рифмуется с «я».

— Очень [illegible] — заметила Наташа. — Вдохновил, значит, его [illegible] быт. Ты блокнотик-то отдай ему, а то он искал [illegible] между прочим.

— Да я уже [illegible] ему в палатку... Чудак он какой-то: живет в маршрутке, сле помещается. Я спрашиваю: отчего вы себе нормальную палатку не поставите, с печкой? Простудитесь на мерзлоте спать, без нар. А он говорит: я не умею. Ну, ребят, говорю, попросили бы. А он: неудобно. Ну, не чудак?

— Просто деликатный человек, — сказала Наташа.

Юля пожала плечами:

— Зачем это себе во вред деликатничать? Я все пыталась про науку его расспросить — ученый все-таки, много, наверно, знает интересного. А он мне рассказал про английскую принцессу, которая венчалась с принцем Филиппом.

— Наверно, решил, что с тобой пристало разговаривать только о принцессах, — заметила Наташа. — Так ничего, кроме принцессы, и не вытянула из него?

— Ну да! Чтобы я да не вытянула! Сорок восемь лет. Жена — биолог. Дочка в восьмой класс перешла, а сыну шесть лет. Живут в четырехкомнатной квартире...

Юля сладко потянулась и сообщила мечтательно:

— Скоро в выкидушку пойдем с группой. На тот конец участка. Дней на шесть. С Витей. Ох, закачу я ро-

ман! Хотя, возможно, пойдет не Витя, а Гена. Ну, тогда с Геной. Хотя, пожалуй, лучше бы с Витей.

— Юля! Опять! — воскликнула Таня.

— Слушай, слушай, птенчик! Учись!

— Не хочу этому учиться!

— Напрасно! — хохотала Юля, сияла глазами и зубами. — Нет, правда. Отчего это среди геологов столько баб незамужних? Мужиков навалом. И не какие-нибудь хлюпики. А вот поди ж ты...

— Ну, уж тебе ли жаловаться, Юля! — возразила Наташа. — Если ты только захочешь...

— Хочу! А вот не получается. Я не о романах, романы — что! У меня ни один полевой сезон без романа не проходит. А вот...

— Выйдешь еще замуж, не торопись, — успокоила Наташа.

— Да, не торопись! Вот тебе, например, сколько было, когда вышла замуж?

— Я поздно вышла. Мне уже двадцать пять было.

— Ну вот! А мне двадцать шесть, и я... Ребенка, что ли, завести? — сказала она с той напускной шутливостью, за которой скрывалось тревожное раздумье. — В принципе я не против ребенка. Но сейчас не могу: материальной базы нет. Решила: если в ближайшие два года не выйду замуж, уеду на Север. Завербуюсь годика на три. А что? Вполне можно себя обеспечить. Квартиру куплю. Тогда и ребенка можно. Я срок поставила: пять лет. Поездить еще охота, мир посмотреть. А с ребенком уже не поездишь.

Заглянул Сашка Матвеев.

— Кофе хотите? У Терехова осталась банка растворимого.

— Хотим! — закричала Юля. — Заваливайтесь! Мы тут о Гамлете рассуждаем.

— Сейчас всех позову, — сказал Саша.

— Ну и погода! — заметила Юля, отводя полог и выглядывая наружу. — Дождь со снегом. Скорее бы

кончилось это балдение, а то неизвестно, до чего и дойдешь. Лучше уж в гору лезть, чем так валяться. Как взберешься на крутизну — тут уж не до мужиков.

С последней почтой она получила письмо от Виталия. Там была фраза: «Если за этот сезон не выскочишь замуж, давай осенью удерем куда-нибудь вдвоем».

Письмо это ее растревожило. Опять, значит, все сначала? Опять он будет говорить: «Надо что-нибудь придумать!» Нет, хватит! Она разорвала письмо на мелкие клочки и сожгла в печке. Теперь она была полностью свободна, а [illegible] оставалось к Виталию какое-то чувство, то, как [illegible]ворится, клин клином вышибают.

— В первый раз я влюбился, когда мне было четыре года, — сказал Костя, перебирая гитарные струны. — Она была гораздо старше меня, ей было шесть. Ее звали Люба. Я ей делал свистульки такие, из стручков акации, и всегда отдавал свой джем. Бабочек ей таскал, жуков... А потом ее взяли из детского сада. И мне некому стало делать свистульки. И бабочек я перестал ловить. И джем съедал сам... Вообще мне долго не везло в любви.

На столе лежала фотография молоденькой женщины с задорным лицом и смеющимися глазами за стеклами очков. Это была Костина жена, Катя.

— Это она на восьмом месяце, так-то она гораздо лучше. Хотя не представляю себе, какая она теперь стала. Нет, на будущий год вместе поедем, а то сбесишься. Мы с ней, когда расписались, всего три недели прожили, а мне уже надо было в поле уезжать.

Таня пьет кофе со сгущенкой. В печке дрова потрескивают. В последний выходной Костя с Сашей напилили и накололи им дров — недели на две хватит. И какие дрова! Два толстых, сухих лиственничных ствола распилили, лиственница очень жарко горит. Два полена кинешь — а жару от них, а треску!

Возле печки пристроился Александр Никитич. От дождливой погоды у него разыгрался радикулит, а жил он по-прежнему в крохотной одноместной палатке, им самим неумело натянутой и протекавшей.

— Ложитесь на мои нары,—предложила ему Юля.— А я сюда, к печке. И вообще, ребята, надо Никитичу нормальную палатку оборудовать, а то совсем загнется человек.

— Нет, отчего же, мне там вполне... — застенчиво начал Александр Никитич и скривился от боли.

Кряхтя, он перебрался на Юлино место и лег, вытянув ноги в шерстяных носках с большими дырками на пятках.

— Не проблема, — сказал Костя. — Завтра же и поставим.

Юля нагрела в двух котелках воду, налила в обе грелки.

— Вот, Никитич, держите.

Тот с виноватым видом взял грелки и положил их под поясницу. Через некоторое время ему полегчало. Он поудобнее устроился на нарах, стал перелистывать старый зачитанный журнал «Вокруг света» и даже поделился вычитанной оттуда новостью:

— Интересный эксперимент болгарских и советских океанологов: пятнадцать дней в подводном доме.

Костя смотрел на фотографию своей жены, родившей ему сына, имени которого Костя до сих пор не знал, и рассказывал, как он с ней познакомился. На свадьбе у своего друга. Он увидел эту девушку и сразу понял: это она! И пригласил ее танцевать. А она спросила: «Вы геолог?» — «Я еще только учусь на геолога», — ответил Костя. Она сказала: «У меня никогда не было знакомого геолога. Расскажите что-нибудь о вашей работе». — «А я н-не мастер рассказывать. З-заикаюсь к тому же».

— Так я и не по-нял, за что она меня полюбила... Через месяц они расписались.

— Вы знаете, что среди африканцев плод дуриа считается лакомством, тогда как для европейца вкус этого плода напоминает тухлые яйца, — сообщил Александр Никитич, поднимая голову от журнала.

— А мне еще ни один мальчишка по-настоящему не нравился, — сказала Таня. — У меня как-то чудно́ получается: сегодня понравился, а назавтра все проходит.

— Ничего, еще в-влюбишься, — успокоил ее Костя. — Я за свою жизнь много раз влюблялся, и тогда все к черту забрасывал, ни о чем другом думать не мог. Хорошее это состояние.

— Чушь, — сказал Саша. — Это отвратительное состояние, ненавижу влюбляться.

Наташа сказала:

— До поры до времени.

Костя бережно завернул фотографию в радиограмму с сообщением, что у него родился сын весом три шестьсот и ростом пятьдесят два, и спрятал в нагрудный карман своей штормовки.

— Не верю я в счастливые браки, — сказала Юля.

— У меня счастливый брак! — возразил Костя.

— Вы и года вместе не прожили! Еще неизвестно, надолго ли хватит твоей любви. Хотела бы я посмотреть на тебя лет через пять!

— П-почему именно через пять?

— По-моему, самый крайний срок для любви. Сколько я знаю семей — из-за детей только не расходятся. А иные плюют и на детей. Так что не очень-то хвастайся своей любовью, Костенька!

— А мы с мужем вот уже тринадцатый год вместе, — сказала Наташа. — И любим друг друга. И таких семей очень много, напрасно ты, Юля. Просто счастливые семьи не выставляют напоказ свое счастье. Да не всегда они и сами его осознают.

— Тебе просто повезло.

— Конечно, повезло. А почему ты думаешь, что Косте не повезет? Везет тем, кто умеет любить. Если в

любви искать только удовольствие, тому вряд ли повезет.

— Ну, не знаю, — сказала Юля. — По-моему, если любовь без удовольствия, ну ее на фиг!

— Мы говорим о разных вещах, — заметила Наташа.

— В то же время для африканца, — сообщил Александр Никитич, — кажется диким вкус флотского борща.

На следующий день рабочие поставили палатку с нарами и печкой, и Александр Никитич перебрался в новое жилище. Юля зашла проведать его, принесла оленью шкуру.

— А как же вы? — смутился Александр Никитич.

— Не замерзну! У меня еще есть одна. А вам сейчас, главное, под спину надо тепло. Я знаю, у меня мама тоже иногда мучается радикулитом.

Кандидат наук неловко сидел на чурбаке возле печки и подкладывал ветки. Печка дымила, но не разгоралась. В палатке было столько дыма, что у Юли начали слезиться глаза.

— Давайте-ка ложитесь, — решительно приказала она. — Я сама.

Она расстелила на нарах оленью шкуру, откинула створки палатки, вытащила из печурки полуобгоревшие сырые ветки, сбегала к себе, принесла охапку сухих поленьев, настрогала лучинок, и печка, словно в ответ на умелое с нею обращение, сразу послушно разгорелась, сухо застреляла, затрещала. Дым выветрился, Юля опустила створки. В палатке стало жарко.

Александр Никитич лежал, укрывшись байковым казенным одеялом, потерявшим свой изначальный цвет от многолетнего пользования. Это грязноватое одеяло, вылезшие из-под него ноги в дырявых носках, щетина на щеках и подбородке, которая еще не превратилась в

бороду, а была так, ни то ни се, производили довольно жалкое впечатление.

— Как это жена отпустила вас, такого беспомощного? — сказала Юля.

— Видите ли, в городе эта беспомощность не так заметна...

— Ну да, незаметна! Женщина все замечает. Сейчас я вам чайник принесу, у нас два.

— Потом, Юля. Посидите со мной. Хотите, я вам что-нибудь расскажу?

— Про английскую принцессу? — усмехнулась Юля, присаживаясь на чурбачок. — Нет уж, не надо. Давайте лучше я вам что-нибудь расскажу. Вот я на вас смотрю и думаю: был бы у меня муж — ни в какие экспедиции меня бы не тянуло. Ну, если геолог, тогда бы вместе, конечно, ездили. И то — наездилась я. Родила бы двоих как минимум. Я бы хорошей женой была, правда... Я и шить умею и вязать. Я бы мужу такие свитера вязала... — мечтательное сказала Юля и грустно добавила: — А никто не верит.

Она взглянула на Александра Никитича:

— Обидно! Почему не верят? От мужиков отбою нет, да не того им от меня надо. А мне бы одного-единственного, только чтобы мой был до конца. Как бы я его любила...

— Однако сознайтесь, Юля, что такой успех у мужчин не может быть вам неприятен, — с некоторой игривостью в тоне заметил Александр Никитич.

Она посмотрела на него с откровенным разочарованием и встала:

— Согрелись?

— Согрелся.

— Зеленую мазь принести? Помогает.

— Потом. Расскажите еще что-нибудь.

— Нет уж, хватит. И так, дура, разоткровенничалась зачем-то. Пойду, а то скажут, что я с вами тут роман

...крутила. Про кого другого не подумают, а про ме-
...— точно, подумают!
Она грустно усмехнулась, подложила в печку дров
и вышла из палатки.

— Бидон я возьму с собой, — сказала Юля. — У вас газы останутся, а мне не в чем воду держать. Так, чего я еще забыла? Брать несессер или оставить? Возьму, пожалуй. Ох, волнуюсь я что-то. Даже на меня непохоже. Я уж свыклась, что мы с Витей пойдем, и вдруг в последний момент оказывается — с Геной. Ну, с Геной так с Геной. А что, Гена тоже ничего.

— Юля, я тебя очень прошу, — сказала Таня. — Ведь ты же знаешь.

— Что я знаю?

— У Гены две дочки, он для них гербарий...

— Опять про гербарий! — расхохоталась Юля. — Да мне-то что за дело? Пусть собирает! Я, конечно, навязываться не буду, но спать-то придется в одной маршрутке!

— Ну и что?! Ну и что?! Как будто нельзя без этого!

— Не знаю, как другие, я бы со смеху померла.

— Юля! Ну я тебя очень прошу!

Как ей объяснить? Гениной старшей дочке было столько же лет, сколько ей, Тане, когда их бросил отец. И она не хотела, чтобы эта незнакомая девчонка пережила то, что пережила она сама в свои десять лет. И после, в двенадцать. Ведь жена Гены может выйти замуж, и отчим может оказаться похожим на ее, Таниного отчима, о котором она до сих пор вспоминает с неприязнью, хотя мама давно его выгнала.

Но пусть даже до этого не дойдет и Гена не соберется бросать семью. Все равно это будет грязь, грязь! А ей нравился Гена, и Юля ей нравилась — ну, пусть все остается, как прежде! Честно и чисто! Неужели

можно собирать гербарий для дочек и в то же время лгать им?

— Что ты так волнуешься, птенчик? Даже больше меня. Ведь я же сказала: навязываться не буду.

— Очень уж ты красивая, Юля, — вздохнула Таня. — Да, — согласилась Юля. — Внешностью бог не обидел, а в любви не везет почему-то. Может, в этот раз повезет?

— Лучше бы я пошла с Геной, — сказала Таня.

— Ты с Сашкой ходишь. А что, птенчик, ты с Сашкой там, на профилях, не того?.. Только честно!

— Да ну тебя, Юля! Вечно ты! Ничего подобного!

— Да я шучу. Знаешь, когда мне было восемнадцать, я влюбилась в одного парня. Володей его звали. Чем-то твой Сашка на него похож. Поссорились, разошлись... А он тоже любил меня, уговаривал пожениться. Не захотела. Зря... А вообще-то... — Она тряхнула головой. — Чем плохо одной? Сама себе голова. Ну ладно. Войлок брать или оставить? Пожалуй, возьму, все равно не мне тащить. Ну, вроде собралась. Покурить, что ли, на дорожку?

Она села по-турецки на войлок, покрывающий нары, сунула сигарету в длинный мундштук, закурила.

В палатку заглянул белобрысый рабочий, Серега.

— Юля, чего брать?

— Вот, рюкзак и мешок. А бидон я сама понесу.

Юля докурила, проверила, хорошо ли зашнурованы ботинки. Обняла Таню.

— Счастливо оставаться, птенчик. Увидимся через неделю.

— Тебе счастливо, Юля. Найдите там кварцевую жилу.

— Есть найти!

Таня стояла у палатки и смотрела, как маленький отряд — пять человек — уходит в тайгу. Идут, вытянувшись цепочкой, медленно, потому что путь нелегкий — через сопки, через болотную марь, красный мох

будет чавкать под ногами, и комары виться тучей. Да и кладь тяжелая.

Впереди — Гена, за ним — Юля с пустым бидоном в руке. И одета вроде по-походному — джинсы, да старенькая штормовка, да туристские ботинки на толстой рифленой подошве. Но Юля есть Юля! Она и в походном нарядна, идет как танцует! Обернулась, помахала Тане. На лице радость и предвкушение новых событий. Видно, ей и самой любопытно: как-то у нее там сложится?

...Иногда подъем кажется совсем пологим, а иногда вдруг круто взмывает вверх. Но Саше уже не надо тащить Таню за руку. Сама научилась крепко ставить ногу на сыпучем подъеме и знает, что значит ходить траверсами: не прямо, «в лоб», а зигзагами, то влево, то вправо.

И пот уже не так заливает глаза. Она может полюбоваться на ходу молодыми кедровыми шишками на стланике — крепенькими, темно-бордовыми, с плотно сплипшимися толстенькими чешуйками. И увидеть, как цветет кедровый стланик — круглыми красными горошинами. И когда резко отпускаешь ветку, от этих цветков-горошин отлетает розовое облачко пыльцы.

Ей казалось, она впервые видит, что свежесрубленные вдоль просеки тонкие стволы затекли слабой, похожей на сок смолой. И что в брусничных зарослях уже краснеют круглые ягоды. И что прекрасный, фосфорически светящийся ягель превращается под сапогами в безобразную серую труху. И что одинаковые серые «бульники» вовсе не одинаковы — часто попадается кварц, он белый и искрится.

«Что за чудо? — радостно думает Таня. — Мне легко идти! Сашка, что ли, идет медленнее, чем обычно?»

Сашка вышагивает впереди и дурашливо орет:

На вершине Сашка привычно остановился — подождать ее. Сидел на корточках, обирал с кустика крупные, еще незрелые, кислые ягоды моховки, дикой смородины.

Неужели было время, когда Таня, едва достигнув вершины, валилась на мох и загнанно дышала, не в силах пошевелиться, со стыдом сознавая свое ничтожество на фоне всей окружающей красоты, по равнодушная и к этой красоте, и ко всему на свете, мучаясь только одной мыслью, что Саша в эти минуты презирает ее? Да, было такое время; а сейчас она только запыхалась, но идти может и дальше, не отдыхая.

— Саш! — крикнула она. — Сегодня так легко влезла!

— Да? — сказал он равнодушно, но она видела, что он тоже рад. Это ведь он учил ее, как правильно дышать, как ставить ногу и многим другим мелочам, которые облегчали трудный для нее подъем. — Я ж говорил, ты будешь классно ходить. А ты не верила. Ну, кто оказался прав?

— Ты! — благодарно согласилась Таня.

— То-то. Матвеев всегда прав.

Вот и начало профиля. Саша ставит треногу над нулевым пикетом. Таня открывает журнал. И за работу.

Шесть шагов — отсчет. Шесть шагов — отсчет. Работа нудная, а отвлекаться не позволяет, и уж не поглядишь по сторонам. Профиль спускается круто вниз, в заросли березы. Ягель сменяется другим мхом, красным и влажным. А дальше — марь: покрытые мокрым тонким мхом болотные кочки, между ними — водяные окошки. Иногда эти окошки прикрыты сверху сплетением березового стланика, так что легко их не заметить и шагнуть в воду.

Шли, а вернее, прыгали с кочки на кочку, и при каждом прыжке нога с хлюпаньем уходила в мокрый мох.

Чавк-чавк — это ноги в промокших ботинках ступают по марь: чавк-чавк.

Иногда приходилось подолгу искать пикет, прячущийся за кустом или глубоко ушедший в мох. Потеря пикета раздражала, потому что прерывался ритм работы, приходилось лазать по кочкам, высматривать, вымеривать. И вдруг — вот он, притаился, как гриб, и кажется, поглядывает хитро, насмехается.

Но вот кончается болото, и снова — в гору, по узенькой вырубке, сплошь заваленной перерубленными стволами лиственниц и стланика. Таня перелезает через стволы, ей жарко, она напевает одну из Костиных любимых:

Сырая тяжесть сапога,
Роса на карабине...
Кругом тайга, одна тайга,
И мы посередине...

Кругом — тайга, а не страшно ничуть. Какой тут страх, успевай переставлять ноги, отыскивать пикеты, записывать в журналы показания прибора.

Вон впереди маячит обтесанная на конце вешка — конец профиля. Последний замер на последнем пикете. Потом пятьдесят метров вдоль магистрали до начала следующего профиля. И все сначала, только в обратном направлении: шесть шагов — отсчет. Шесть шагов — отсчет.

...Перерыв. Таня села на шуршащий, теплый ягель, намазалась диметилфталатом. Саша сходил на соседний профиль, вчера промеренный, принес оттуда чайник и кружки, которые так и кочевали с профиля на профиль.

Набрал из ручья воды. Разжег крохотный костерок, очистив площадку от ягеля. Повесил чайник на палку. Таня вскрыла банку тушенки, подогрела, нарезала хлеб.

Из кустов доносилось глухариное туканье. Треснула сухая ветка, и Таня с испугом обернулась.

Все вокруг было мирно и тихо. Бирюзой светился ягель, сухой, как бумага. Когда долго нет дождей, он так высыхает, что, когда берешь его в руки, рассыпается. Но при этом он не теряет своего волшебного цвета. На этом фосфорическом ковре особенно яркими кажутся лиственницы и кедровый стланик с его красными цветками-горошинами и бархатными бордовыми шишками. Глянцево зеленеют кустики черники, да голубеют мелкие северные колокольчики.

А еще всюду торчат корни и изогнутые остовы высохших лиственниц, серовато-серебристые, похожие то ли на абстрактные скульптуры, то ли на скелеты ископаемых ящеров.

— Сашка, это правда, что тебя за крестик исключили из института?

— Чушь! За «хвосты» меня исключили. А крестик — это я у бабушки выпросил. Он серебряный, старинный.

Они сидят рядом, чай пьют вприкуску с большими кусками колотого сахара. Саша в маршруте совсем другой, не такой, как в лагере. Там он по-прежнему любит выставиться, обратить на себя внимание. А тут он товарищ. И даже немножко обидно, что держится так подчеркнуто по-товарищески.

Уже восемь дней нет Юли. Ваня Терехов связался с Геной по рации. Тот сказал, что нашли несколько кварцевых жил и теперь их исследуют. Просил прислать кого-нибудь, подкинуть хлеба и тушенки. Таня загорелась: я пойду!

Едва дождалась выходного и отправилась с Ваней Тереховым. Саша Матвеев идти не захотел, заявил, что надо письма написать.

В отсутствие Тани Наташа убрала палатку, пол выскребла щепочкой, вымела из-под Юлиных нар кучу окурков: Юля сама-то чистюля, но к беспорядку вокруг себя относится с полным равнодушием. Наташа это

за большой грех не считала, а все же приятно, когда в палатке чистота. Она даже букетик собрала и поставила в банку из-под грушевого компота. А потом собой занялась. Постирала, развесив бельишко там, где кусты погуще — подальше от мужских глаз. В баньку сходила. И с особенным удовольствием улеглась на нары, поверх чистого вкладыша, надев цветастый халатик.

И почувствовала себя как дома. Впрочем, это и был ее дом, и порой она ловила себя на том, что ей здесь уютнее, спокойнее, чем в собственной квартире, в окна которой круглосуточно врывается уличный шум. Там все время не перестаешь нервничать, даже в минуты отдыха. А тут она спокойно лежала и ждала, когда Алексей Алексеевич стукнет сковородкой о сковородку — сигнал, призывающий к столу.

Наташа усмехнулась своим мыслям. Что-то слишком часто она занимается сравнительным анализом, и все сравнения почему-то не в пользу города. И в то же время невольно начинало тяготить это отсутствие мелких житейских забот. Напустить бы сейчас ванну, посадить туда обоих своих мальчишек и смотреть, как они чебурахаются среди резиновых крокодильчиков, утят и рыбок, поливают друг друга из зеленой пластмассовой фляжки, ныряют «кто дольше».

Намылить их по очереди под плеск и визг: «Уши не надо!», «Полотенце дай!», а потом чистеньких, скрипящих растащить по постелям, дать по яблоку, почитать книжку...

В окошко виден лагерь. Он сейчас очень напоминает деревеньку: возле палаток аккуратные поленницы. На веревке, натянутой меж деревьями, сушатся рубашки и вкладыши. Журчит ручей. Возле кухни рабочие расселись на дровах, как на завалинке, слушают транзистор. Судя по взволнованному голосу комментатора, прерываемому гулом стадиона и возбужденным восклицанием парней, игра идет ответственная...

Наташа вытащила из брезентового кармашка, при-

строченного к палатке, письмо от мужа, перечитала. Полюбовалась рисунком младшего сына — дом с трубой, и, конечно, дым из трубы крутой спиралью. Она даже всплакнула над рисунком, пользуясь тем, что никто ее не видит.

Таня вернулась поздно вечером, усталая, промокшая и замерзшая. На обратном пути они с Ваней немного сбились в сторону, попали в болото, комары их совсем заели.

— Ой, как хорошо у нас! — сказала Таня, садясь возле печки и стягивая мокрые ботинки и носки. — Даже цветы!

— Ну как там Юля?

— Ничего, — неопределенно ответила Таня, кладя носки на сушилку. — Они там еще на неделю задержатся.

— Да что он, спятил, Генка? — возмутилась Наташа. — Разве так можно? Оставил отряд на Рощина. А Рощин даже канавы рабочим задать не может как следует.

— Я было обрадовалась, — сказала Таня. — Заглянула в палатку, смотрю, а там только один спальник лежит. Ну, думаю, Гена, молодец, ушел спать к ребятам в палатку. А потом пригляделась — нет, черт, спальника-то два. Один на другой положен. Эх, Гена!

— Можно к вам? Чего там Гена? — влез в палатку Костя. За ним Саша Матвеев и Володя Лисичкин. Началось вечернее нашествие гостей. Поставили чайник. Таня повторила про спальные мешки.

— Ерунда! — убежденно сказал Костя. — Ничего у них нет. Я Генку знаю, он во какой парень! Он мне высказывал свои взгляды на эти вещи.

— Хоть бы! — вздохнула Таня.

Наташа сказала:

— Взгляды взглядами, а Юля Юлей. У нее на эти вещи свои взгляды.

— А я говорю, что Генка очень порядочный парень! — упорствовал Костя. — Я и Вальку, его жену, знаю. Не может Генка...

— Чушь, — сказал Саша. — Почему это не может? Подумаешь, делов-то: полевой роман. Да ни один сезон без этого не обходится.

— Смотря какой роман! В прошлом году в партии Никитина тоже все с этого началось: с полевого романа. А потом так все перегрызлись, что пришлось партию расформировать.

— Ну, у нас до этого не дойдет.

— Еще неизвестно.

— Не буду я с вами спорить, ребята, — сказал Костя. — Я Генке, как себе, верю. Ничего у них с Юлькой не выйдет, вот увидите.

Отряд Гены Ширяева вернулся в лагерь неожиданно. В палатке была только Наташа — обрабатывала материалы. Юля влетела в палатку, сияющая, как всегда, обняла Наташу, завалилась на Танины нары, закурила.

— Мы на один день всего пришли, я Генку уговорила в баньку сходить и постираться. Ох, Наташка, было! Все было с Генкой!

Хохоча и сияя, она принялась в подробностях рассказывать, как все было.

— Работяги злятся — жуть! Особенно Серега — ревнует, гад! А кому какое дело, правда, Наташк?

— Не знаю, — ответила Наташа. — Наверное, всем есть дело. Живем маленьким коллективом, все открыто...

— Все равно это наше личное дело! А ты что, осуждаешь?

Наташа пожала плечами.

«Личное дело» сразу нехорошо обернулось. В открытую не высказывались, но злились все. Добродушный Ваня Терехов разругался с Геной, когда узнал, что тот завтра снова уходит на неделю.

— Какого черта! Ты там любовь крутишь, а отряд без начальника.

— Я работаю там, что ты мелешь!

— Прямо работает он! Давно бы уж закончил! Витька тут не справляется, а ты на работу наплевал из-за бабы!

Вечером Гене пришла радиограмма: «Поздравляю годовщиной свадьбы, люблю, целую, твоя Валя». Терехов не пожелал даже отнести ему эту радиограмму, поручил Косте. Тот сделал это с мстительным удовольствием. Гена прочитал, и у него стало растерянное лицо.

С утра моросил дождь. Группа Гены Ширяева, которая должна была отправиться в обратный путь на свой участок, задержалась до обеда. Юля была этому рада, ей хотелось отоспаться и понежиться в теплой палатке.

— Как все относительно, — говорила она, массируя лицо. — После маршрута здесь просто комфорт. Все познается в сравнении, правда, птенчик?

— Не знаю, — отчужденно ответила Таня.

Никто в этот день не пошел в маршрут из-за дождя. Таня и Саша строили графики. Костя и Лисичкин тут же, в палатке, занимались минералами — клеили на них кусочки лейкопластыря, надписывали и складывали в разноцветные ситцевые мешочки.

— Можно к вам? — спросил Александр Никитич, влезая в палатку.

Он пристроился в своем любимом уголке у печки и притих.

Погода который день нелетная, вертолета все нет и нет, а у Александра Никитича отпуск кончается. Жизнь

в лагере с ежедневными тяжелыми маршрутами ему очень надоела.

Таня подумала, что он так тут ни с кем и не подружился, а жить в партии и ни с кем душевно не сойтись — пустой номер. Никакого удовольствия.

Пришел Гена и сказал, что, раз уж они задерживаются, надо сделать карту.

— Ге-на! — капризно сказала Юля. — Не хочется!

— Ну пожалуйста, Юля!

Она неохотно поднялась и вышла вслед за ним. Вскоре пришел Витя Рощин, который жил с Геной в одной палатке.

— Я у вас поработаю, можно?

— Жалко, — ни к кому не обращаясь, сказала Таня. — Так хорошо все было...

— Чушь, — ответил Саша. — Поменьше трепаться об этом надо. Давай черти, я диктовать буду.

...После обеда дождь кончился, тучи разогнало, и Генин отряд стал готовиться в обратный путь. Перед уходом Юля сообщила под секретом, что Гена взял у повара дрожжи и что они там, у себя в выкидушке, заделают брагу в бидоне.

— Приходите, устроим веселую жизнь!

— Знаешь! — возмутилась Наташа. — Как-то это... Черт его знает. Непринципиально. Генка сам ввел сухой закон, и когда горняки там, на горе, тайком затерли брагу — помнишь, недели три назад? — он ее вылил. И ребята нормально восприняли, потому что справедливо. Нет, не нравится мне это, Юля.

— Что значит «сухой закон»? — запальчиво возразила Юля. — Это значит: пей так, чтобы никто не знал.

— Прямо не узнают! — сказала Таня. — Серега уже знает, что вы дрожжи с собой берете!

— А откуда он знает, зачем нам дрожжи? Может, я блины хочу печь?

— Дурак он, что ли?

Простились холодно.

— Если к ноябрю вернемся, — сказал Саша, — успеем на КСП.

— Что такое КСП?

— Конкурс студенческой песни. Каждую осень организуется такое мероприятие. Заранее место выбирают, где-нибудь под Москвой, и выезжают с ночевкой. Всю ночь поют. Здорово! Хочешь, и тебя возьму с собой?

— Хочу, — ответила Таня, а сердце застучало: значит, они встретятся в Москве, и ниточка их дружбы не оборвется.

— Саша! У тебя кто-нибудь есть в Москве?

— Не знаю, — ответил он, помолчав. — Не пишет что-то.

— Может, пишет. Вот будет вертолет — сразу три письма получишь. А как ее зовут?

— Ирина.

Этот профиль был легкий, почти все время по безлесью, они не торопились, могли разговаривать. Потом перешли на следующий, и вот тут-то замучились: сплошные заросли, некуда треногу поставить. Вдруг Таня увидела впереди дымок.

— Смотри-ка!

— Вижу. Кто-то из наших. Костер жгут. Пошли к ним. Может, у них чай есть.

Вскоре вышли к маленькому костерку. Вокруг сплошной бурелом. Сквозь него, громко журча, тек ручей. А у ручья Володя Лисичкин промывал породу.

Володя обрадовался.

— Присаживайтесь! Наливайте чаю, а хлеб — вон он, в сумке.

Они отставили в сторону прибор и сели рядом, на срубленные ветки.

— Знаки есть, — сказал Володя. — В первый раз за все время.

— Много? — спросил Саша.

— До сорока. А иногда и больше. Это вон с тех шурфов, за водоразделом.

— В районе тридцатого профиля? Точно, мы, когда там мерили, тоже обратили внимание — помнишь, Танька? — там аномалия сильная.

— Неужели? — ахнула Таня. — Ой, Володя, а посмотреть можно?

— А вот в лотке, гляди.

Таня села на корточки возле Володи. Лоток так и плясал в его красных от ледяной воды руках. Таня ничего не видела. Но вот движения рук замедлились, стали осторожнее. Володя положил лоток на землю. Они все наклонились, всматриваясь.

— Где? — спросила Таня.

— Да вот, вот, ослепла, что ли?

— Это? — разочарованно спросила Таня.

— Ну, — ответил Володя. — Оно самое. Не нравится?

— Жалкое какое-то, — призналась Таня.

— Какое есть, — обиделся Володя и, взяв шлиховый пакетик, соскреб в него несколькими щепотками содержимое лотка, закрыл пакетик и, неловко держа карандаш в плохо слушающихся, намерзшихся пальцах, надписал порядковый номер и номер шурфа, из которого брали породу.

— Нашли все-таки, — сказал Саша. — А я думал, ничего тут нет.

— Ну, еще неизвестно, много ли его тут. Может, так, случайная жилка.

— Ну все-таки, — сказал Саша.

Они попили чаю, посидели немного.

Потом Саша сказал:

— Пошли.

Взял сиротливо стоящий в кустарнике прибор, и вскоре ручей и костерок остались позади, словно их и не было.

Если утром налить в таз воды и выставить на солнце, то к вечеру она становится совсем теплой. После маршрута Таня мылась в палатке, смывала пот и диметилфталат, которым в течение дня приходится несколько раз обмазываться, — все-таки не так мучают комары. Правда, говорят, он вреден для кожи, но что делать?

Она плескалась, обливалась из чайника, растиралась мохнатым полотенцем и вдруг услышала вертолет, прямо над палаткой! Они с Сашей сегодня уже видели вертолет, но он пролетел мимо, к другому лагерю, расположенному в сто с лишним километрах от них. Таня и теперь подумала — мимо пролетит. И тут же по звуку определила: снижается! И увидела сквозь марлевый полог: Терехов бежит с толстой пачкой писем, за ним — Костя, Алексей Алексеевич, вытирая на ходу руки о подол рубахи.

Таня наскоро оделась и тоже побежала.

Вертолет прибыл из Никольска, привез горючее. А писем не привез; письма на базу приходили.

Скатили по мосткам бочки. Пилот торопился на базу — портилась погода. Забрал почту, сел в кабину, и вертолет улетел. Всего и опускался-то минут на пятнадцать.

Постояли, провожая глазами исчезающую точку, и молча побрели в лагерь.

И тут только вспомнили: Александр-то Никитич не успел вернуться из маршрута! Вертолет улетел без него. А он так ждал его! Вот не повезло бедняге!

Отряд Ширяева уже неделю как вернулся с того конца участка. Внешне вроде ничего не изменилось, разве что Юля теперь большую часть времени проводила в Генкиной палатке. Витя Рощин все свободное от маршрутов время проводил в палатке у девчат, или у Саши с Костей, или сидел у кухонного костра.

Теперь, если кому-нибудь надо было войти в Генину палатку, стучались, и это было неловко, и сам Гена отзывался нарочито-удивленно:

— Да входите, входите, чего стучаться-то?

Он обычно строил карту, а Юля лежала за его спиной, на его нарах, укрыв ноги его одеялом, и смотрела на вошедшего с вызывающей напряженной улыбкой.

Вошедший излагал свое дело и торопился уйти, чтобы не видеть этой улыбки и Генина смущенного лица.

Юля возвращалась в свою палатку поздно, делилась своим недовольством:

— Ну, Витька, понятно, почему злится: не обломилось ему. Он-то сам хотел со мной в выкидушку идти. Но остальные-то чего злятся? Им какое до всего этого дело?

Она раздевалась, забиралась в спальник, рассуждала мечтательно:

— Ой, а Генка! Я даже не думала, что он такой. Он так много знает, оказывается! Я рядом с ним дура дурой!.. Что же мне делать, боже мой! Едва развязалась с одним, тут же налетела на другого. У того хоть один ребенок, а у этого двое. Почему мне так не везет?..

Она ловила взгляды окружающих и нарочито вызывающе смотрела им в глаза. Ей казалось — все ее осуждают, все презирают, и за это она ненавидела всех, или ей казалось, что ненавидит. Иногда Гена приходил в женскую палатку, но уже не стало по вечерам той атмосферы тесной сплоченности, теплоты, как раньше. Она знала — это из-за них с Генкой. Завидуют просто. Конечно, завидуют.

А Генка словно не замечал этой сгустившейся вокруг атмосферы осуждения.

— Я сразу понял, что полюблю тебя! — говорил он, глядя на нее восторженными, почти рабскими глаза-

ми. — Еще в Москве, в аэропорту. Это какое-то наваждение, Юля.

— Брось, какое там наваждение. До конца сезона.

— Я хочу, чтобы мы всегда были вместе.

— А семья? — трезво спрашивала она.

— Что-нибудь придумаем.

Ей даже страшно стало.

Но сейчас она не хотела ни о чем думать. Жить на полную катушку, а там будь что будет.

Каждый вечер они уходили подальше от лагеря, за магистраль. Он спрашивал: «Ты меня любишь?» — и она отвечала: «Да», потому что он ей, в общем, нравился, особенно его волевой взгляд, который, как она чувствовала, вовсе не соответствовал его характеру.

Почему нельзя любить просто так? Почему ее любовь всегда должна вызывать у окружающих чувство осуждения? Что тут плохого? Кому она мешает?

Они возвращались, когда лагерь уже спал, и еще долго, обнявшись, стояли за палаткой.

Таня и Наташа видели седьмые сны, а она сидела на своих нарах и курила, курила...

Осталось всего пятнадцать профилей, самых дальних. К ним было долго добираться — через две высокие сопки.

Саша предложил:

— Давай возьмем маршрутку и выкинемся прямо к профилям. Чтобы не тратить времени на подход. Тогда дня за три все закончим.

— Давай! — поддержала Таня.

А сама испугалась. Представила, как они с Сашей будут ночевать в одной палатке. Искоса взглянула на него, но он сидел, повернувшись к ней боком, подкладывал в костер щепки. Колечки светлых волос прилипли к шее. Выгоревшая голубая футболка обтянула худые, но широкие плечи.

Юля говорила: «Спать с мужиком в одной палатке, и чтобы ничего не было — это же со смеху помрешь!» Но мало ли что говорит Юля.

Нет, ничего у них с Сашей не будет, если даже и уйдут вдвоем с почевкой. Потому что она для него как младшая сестренка. Он даже иногда называл ее сестренкой, и это было приятно и немножко обидно. Она не задавала себе вопроса, нравится ли ей Саша. Наверно потому, что ее отношение к Саше ничем не напоминало ей книжную любовь с поцелуями и объяснениями. Просто ей было хорошо, когда Саша был рядом. Хорошо работать, хорошо разговаривать, хорошо молчать. Идти рядом. Сидеть у костра. Ему можно все рассказать, он поймет.

А когда, вернувшись из маршрута, они расходились по своим палаткам, Таня сразу начинала ждать его, словно они не расстались только что.

Она мылась, переодевалась, жалея, что не взяла с собой ни одного платья или юбки и что Саша видит ее все в том же, в чем привык видеть по вечерам, — в тренировочных брюках с вытянутыми коленями и старом, со следами штопки свитере. Взяла с собой все самое старое, заношенное, как назло! Если бы знала!

Она подолгу глядела в Юлино зеркальце с длинной фигурной ручкой и впервые за все годы юности не огорчалась своей внешностью. Загар, что ли, шел или выражение глаз изменилось, а только радовалась, глядя на свое отражение, и сама от себя скрывала эту радость.

Иногда они возвращались из маршрута поздно, когда все отужинали. Алексей Алексеевич выгребал из котла остатки макарон с тушенкой, подогревал их в мисках на костре, и они ужинали, сидя рядом на толстом чурбаке, а повар смотрел на них с доброй, необидной улыбкой, будто знал о них то, о чем сами они не догадываются. И эта усталость, гудящие от долгого перехода ноги, жар от костра, близость Саши и взгляд Алек-

сея Алексеевича вызывали у Тани желание, чтобы так все и было, не кончалось бы никогда.

Она ни разу больше не заводила разговор об Ирине, от которой он ждал письма. Но часто думала об этой девушке. Она представлялась Тане очень взрослой, красивой и умной. Она не годилась в сестренки, а была именно девушкой, которую Саша любил. Таня даже не ревновала, потому что Саша был ей только другом, и Ирина не могла помешать их дружбе.

...Она забралась в спальный мешок, вытянула ноги, блаженно потянулась. Ежедневные маршруты сделали свое дело. Ноги за последнее время окрепли, и фигура стала стройнее.

Наташа сидела за столом, читала при свете керосиновой лампы. Юля, как обычно, ушла с Геной.

— Скоро расставаться нам с тобой, Танечка, — сказала Наташа, поднимая голову от книги. — В конце августа улетишь со студентами. Небось соскучилась по дому?

— Не знаю, — ответила Таня. — Я-то, может, и соскучилась, да вот по мне вряд ли соскучились...

— Почему?

— Мама замуж собралась.

— Человек-то хороший?

— Так-то вроде ничего... Вдовец, сын у него в армии. Но ведь она мне слово дала, что больше замуж не выйдет! — с обидой сказала Таня.

— Мама дала тебе слово? — удивилась Наташа. — Зачем?

— Да она уж один раз попробовала... После того, как отец от нас ушел. Мне тогда лет двенадцать было. Я отчима ненавидела. Грубый был, пил, скандалил. Нет, до драк не доходило, а меня словно вовсе не замечал. Но я за маму страдала, очень уж ей стыдно было перед мной. Ну, в конце концов разошлись, конечно. И я ей запретила замуж выходить.

— Как это — «запретила»?

— А вот так, запретила — и все. Сказала, что из дома уйду.

— Жестокая дочь...

— Почему? По крайней мере с тех пор живем спокойно... Вернее, жили. Ну зачем ей сдался этот Федор Матвеевич? Из-за него-то я и уехала.

— Вот оно что... А сколько ж ей лет, твоей маме?

— Сорок два.

— Еще молодая.

— Ничего себе — молодая! Сорок два!

— Ах, Танька, Танька! Ты понимаешь, что это такое — сорок два года? Это — как середина осени, сегодня еще цветешь, еще силы, желания, страсти — все с тобой, но так страшно, так грустно, что вот ударят заморозки или зарядят дожди осенние, слякоть, а ты одна, и уже нет надежды, что найдешь, встретишь...

— Ты-то откуда знаешь? Ты ведь не одинокая.

— Ну и что? Я могу понять! Пойми и ты! Пожалей маму. Напиши ей, что была не права и что, если ей нравится этот человек, пусть выходит за него. Напишешь?

— Напишу, — робко пообещала Таня.

— Ну, молодец. Спи. До профилей тяжело добираться?

— Не очень тяжело, но долго. Часа два на подход будет. И обратно столько же. Наташа! А если мы с Сашей пойдем дня на три с маршруткой?

— Зачем это? — нахмурилась Наташа.

— Ну, чтобы быстрее закончить. Ведь обработки еще много.

— Нет, — сказала Наташа. — Как-нибудь справимся. Если тебе трудно, я Лешу Базарова пошлю с Сашей. Или сама пойду. Ни к чему это.

— А что тут такого?

— Ничего такого, — ответила Наташа. — Не пущу, и все.

Таня обиделась.

Старшие всегда все запрещают. Пользуются своим правом старших.

Вернулась Юля.

— Вы еще не спите, девчонки? Не могу, в голове гудит, которую ночь не высыпаюсь.

Она прикурила от керосиновой лампы и завалилась одетая на нары.

— Счастливая я, девчонки! Любит — ужас как! «Я с тобой, — говорит, — никогда не расстанусь!» О как! Совсем ошалел мужик!

Она села к зеркалу и стала расчесывать волосы.

— Вообще-то не очень счастливая, — сказала вдруг невесело. — Когда же у меня будет свой, чтобы только мой и больше ничей?

Она приблизила к зеркалу лицо, провела пальцем по морщинкам около глаз. И продекламировала совсем уж грустно:

— «Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела...»

Александр Никитич сам измучился и всех измучил. Вот уже две недели как закончился его отпуск. Жена бомбардировала его радиограммами. В маршруты он теперь не ходил — боялся уйти из лагеря и снова пропустить вертолет. Бродил неприкаянно от своей палатки до палатки Терехова, прислушивался к разговорам радиста, а потом приставал к нему:

— Ну? Что слышно? Будет или нет?

Терехов злился:

— Я почем знаю? Что я, бог?

Вот опять низкая облачность. К вечеру прорвало было тучи, Александр Никитич воспрянул, ходил и молитвенно смотрел в небо. Но по радио передали, что на базе нет погоды, и бедный кандидат наук опять сник. Ко всему у него снова разыгрался радикулит. Лечился

он странно: выбирал сук покрепче, подпрыгивал, цепляясь за него руками, и так висел, пока руки держали. Он говорил, что это ему помогает. Может, и помогало, но вид его грузной фигуры, повисшей на суку, его поджатые ноги в ботинках с отставшими подошвами производили на всех жутковатое впечатление.

Вертолета ждали с нетерпением. Продукты были на исходе. Да дело и не в продуктах: письма, газеты, журналы... Давно уже не было почты, и от этого у всех какое-то нервное состояние ожидания, которое выражалось по-разному.

Наташа, например, загрустила, вслух тосковала по дому, по детям. И мама старенькая — вдруг какое-нибудь несчастье? Ведь ничем и не поможешь! Какую бы отчаянную радиограмму из дома ни получил, будешь сидеть здесь и мучиться.

Костя стал злым и обидчивым.

А Юля однажды не выдержала, ударилась в истерику. Рыдала, что хочет домой, хочет надеть белое французское белье...

Гена сидел рядом, гладил, успокаивал. Все понимали, что французское белье тут ни при чем. Юля постепенно успокоилась, отвернулась от всех и стала гадать на картах.

Всем обрыдший Александр Никитич сидел в углу у печки и тусклым голосом говорил о том, что в Италии сушеные кузнечики считаются лакомством. Никто на его «новости» не реагировал.

А вот и первые признаки осени: словно кто прошелся тонкой кисточкой по листьям и окрасил их в ярко-красный и ярко-желтый цвета. Было очень красиво и немножко грустно, потому что это значило, что скоро улетать. И Тане все бессмысленнее представлялось это возвращение, и она завидовала тем, кто останется. Они

отправятся дальше, к побережью, где должны будут исследовать еще один участок. Уже сейчас повар Алексей Алексеевич готовил рыбацкую сеть, чинил ее, растянув между двумя стволами лиственниц. Они там будут ловить красную рыбу и есть красную икру, да дело не в рыбе и не в икре. Таня сжилась со всеми, ей было интересно здесь. Это был ее дом, где ее любили и она всех любила. Она уедет, а они останутся, и все будет так же, но без нее. Это казалось ей несправедливым.

А главное — она поняла, что ей нравится геология. А то, что собиралась поступать в педагогический, — это ошибка. И неизвестно, когда бы она догадалась об этой ошибке, если бы не поехала в экспедицию. А сейчас не поздно. Она убедилась на практике: чтобы выбрать профессию, надо поработать в этой области и самой понять, что это именно то. Могло бы оказаться, что и не то. Вот Леша Базаров — тот, например, ждет с нетерпением вертолета, ему тут не по себе: и работа неинтересна, и невозможность побыть в одиночестве угнетает его. Может, потом он будет с удовольствием вспоминать об этой поездке, и только.

А она теперь не представляла себе, как порвать со всем этим. Она тут на месте, ей стало легко жить.

Поспела красная смородина, кусты ее, сплошь усыпанные вызывающе алыми ягодами, так и горели издали по склонам сопок.

На болотах попадалась морошка — желто-розовые, мучнистые на вкус ягоды на коротком земляничном стебельке как птенцы — по нескольку в каждом гнездышке.

Но больше всего было голубики. Иногда профиль шел сплошь по голубичным зарослям, и тогда Таня и Саша не выдерживали, прерывали работу и ползали по этим зарослям, собирая в горсти мутно-голубые, словно запотевшие ягоды, вначале казавшиеся сладкими, а потом начинавшие так вязать, что больно становилось пошевелить языком.

Капельками крови разбрызнулась брусника — самая поздняя таежная ягода. Она была твердой и терпкокислой, и это тоже казалось обидным Тане — она уедет отсюда раньше, чем поспеет брусника.

— Ты вроде загрустила, — заметил Саша. — Опять эмоции?

— Ага, опять, — созналась она. — Брусника поспеет без меня...

— А ты оставайся.

— «Оставайся»! Теперь уже неудобно...

— Чушь. Почему неудобно? Вернешься вместе со всеми, устроишься на работу, хоть к нашим же, в экспедицию, а весной подашь документы во МГРИ, на вечерний. Вместе подадим.

Она промолчала, подумала: надо бы с Наташей посоветоваться.

Метнулась вверх по стволу белка.

— Вертолет, — сказал Сашка.

— Где?

— Гудит, слышишь?

Они остановились, подняли головы.

И так необычно показалось Тане, как в той, Костиной песне: «Кругом тайга, одна тайга, и мы посередине». А над ними в синем небе летит маленький голубой вертолет.

И этот сказочный светящийся мох, и невысокие лиственницы, и сопки вокруг, крутые и пологие, с острыми и круглыми вершинами, яркое солнце и полная тишина. Только стрекот над головой. И ни души, кроме них двоих. Да еще магнитометр, как живой, на своих тонких ножках, уставил в небо объектив, словно тоже радуется вертолету.

А он летит, голубой волшебник, и везет им письма.

Таня подумала, что это мгновение останется в ней навсегда, хотя вряд ли она кому-нибудь расскажет о нем. Ведь это не событие, в котором всегда есть содер-

жание, грустное или радостное. Это всего лишь ощущение.

А как передать ощущение? Чтобы тот, кому рассказываешь, почувствовал, что это прекрасно — увидеть вертолет в глухой тайге и знать, что он везет тебе письма, и увидеть себя среди тайги как бы со стороны, и почувствовать себя посреди времени и событий? Как передать, чтобы собеседник понял и не ответил бы с тусклым равнодушием:

— Ну и что?

Она взглянула на Сашу, увидела его сдержанно-взволнованное лицо и подумала: это их общее мгновение.

— Идите скорее! Писем вам — полно! — встретил их Леша Базаров. — И тебе, и Сашке, и Косте, я их вам по нарам раскидал. И мне восемь штук!

— Никитич улетел? — спросил Саша.

— Улетел, слава богу! Услышал вертолет — так и припустился, о всех своих болезнях забыл!

— Я хотела ему мамин телефон дать, — сказала Таня. — Чтобы он ей позвонил в Москве... Не успела, жалко.

— Просил привет вам с Сашкой передать. А Юльке — представляете? — руку поцеловал!

— Ну и что? — сказал Саша.

— Юльке-то! Руку целовать! — Леша покрутил пальцем у виска.

В палатке было празднично. На столе — две банки с растворимым кофе, шоколад — это Юля получила от мамы. Еще мама прислала Юле коротенькое летнее платьице с вырезом, которое Юля сейчас примеряла.

— Я, кажется, растолстела. Кошмар какой, девчонки! Раньше оно на мне свободнее было.

— Чуть пожар не устроили с этим вертолетом! — рассказывал Терехов. — Он площадку никак разглядеть

не мог. Летает и летает, а сам не садится. Ну, я взял ракетницу и давай палить. Две ракеты дал, а одна дотореть не успела — и в ягель. Как он сразу — пых! И пошел! Хорошо, народ рядом был, быстро затоптали.

Таня набросилась на письма. От мамы, еще от мамы, от подруги. И посылочка: коробка печенья и пластмассовая фляжка с малиновым вареньем.

Мама писала: «Что ж, дочка, ругай меня, не ругай — расписались мы с Федором Матвеевичем. Он человек хороший, тебя не обидит. Да ты уже большая, поймешь: мне на старости лет одной вековать тоже не хочется».

Подруга писала про турпоход, про парня, с которым она познакомилась. Таня отложила письмо подруги и снова вернулась к маминому: «Ты уже большая, поймешь...»

Она перенеслась мыслями домой и долго сидела, уткнувшись в мамины письма.

«Свадьбу, конечно, не устраивали, кому она нужна, — писала мама. — Так только, своих позвали: тетю Зину с дядей Ваней, Тамарку да Федора брата с женой. В сентябре у Федора сын из армии придет, да ты вернешься, тогда и отпразднуем. Приезжай, дочка, поскорее, соскучилась я — сил нет...»

Так к маме захотелось! Не будет она ни о чем советоваться с Наташей. Студенты полетят, и она с ними.

Сегодняшний вечер обещал быть особенным — соскучились по вкусному, а тут столько всего! И кофе, и шоколад, и варенье.

— Ух, попируем сегодня! — радовался Костя. — Сына-то Митей назвали! Я так и хотел! Катька пишет: только-только родился — сразу закричал! Во сын-то у меня! С-слушайте, я решил оленью шкуру п-привезти ему. Будет на оленьей шкуре валяться, а? Здорово?!

— Не советую, — сказала Наташа. — Шкура лезет, а маленькие — они ведь все в рот тянут. Набьет в рот шерсти...

— Точно! Ты права! — обрадовался чему-то Костя. Наверно, явственно представил себе сына, который тянет все в рот. — Ребята! Споем сегодня? Настроение есть.

Настроение у всех было, даже Юля повеселела.

— Давайте оладьев напечем? — предложила Наташа. — Юля, ты говорила, у тебя дрожжи остались.

— А из голубики можно варенье сварить, — предложил Саша. — Я умею.

— Кто за голубикой пойдет?

Гена сказал:

— Пойдем, Юля?

Она послушно встала, погляделась в зеркальце, надела поверх платья джинсы, взяла два котелка, стоящие в углу за печкой, и вышла вслед за Геной.

Явился после вечерней связи Ваня Терехов, сообщил:

— Все! Накрылись ваши маршруты! Сейчас передали: с моря надвигается фронт дождей! Небо закрывается на десять дней. А может, и больше.

И действительно, не прошло и часа, как небо закрылось. Оно закрылось сплошными серыми тучами. На вершины сопок опустился серый туман.

Но это не испортило всеобщего настроения.

Вечер хорошо начался. Саша и вправду сварил настоящее варенье, а спецом по оладьям оказался Костя. Тесто подошло очень быстро. Костя раскочегарил печь, накалил сковородку и принялся за дело. В палатке стало так жарко, что пришлось открыть одну брезентовую створку. Володя Лисичкин принес полкотелка соленых грибов — это его повар угостил. Посетовали, что под грибки нет ни капли спиртного. Заварили крепкий до горечи чай.

Костя сказал, что дождь — лютый враг геологов. Наташа возразила, что, наоборот, дождь для геолога — друг и брат, потому что куда бы делась без дождя вся геологическая романтика?

— О чем бы ты песни пел, Костя? Без дождя все эти

романтики, которые рвутся в геологию, торговали бы с лотков апельсинами.

— Дело не в дожде, — возразил Костя. — В настроении. В поэзии. Я т-тут, в т-тайге, поэзию совсем по-другому чувствую. Здесь понимаю, чего раньше не понимал... Или в-вот открыл для себя Николая Рубцова. Какой поэт! Вот по-слушайте, на его слова песня.

Он настроил гитару и негромко запел:

В минуты музыки печальной
Я представляю желтый плес,
И голос женщины прощальный,
И шум порывистых берез...

По брезентовой крыше палатки тихо-тихо шуршал дождик, словно тоже присоединился к песне.

Давно душа блуждать устала
В былой любви, в былом хмелю,
Давно пора понять настала,
Что слишком призраки люблю...

Но все равно в жилищах зыбких, —
Попробуй их останови! —
Перекликаясь, плачут скрипки
О желтом плесе, о любви...

Костя допел песню, отложил гитару, закурил. Все молчали. Гена, отклонившись в тень, гладил Юлины ноги.

Володя Лисичкин сказал вроде бы ни с того ни с сего:

— Я отца обожал. Помню, вернулся домой — я у бабушки гостил в деревне... Мать встречает... Я спрашиваю: а где папа? А она: папа от нас ушел... Мне тогда семь лет было... Я — вот честное слово! — заболел тогда. Не мог понять, как это можно, — уйти, бросить нас... До сих пор, как вспомню... Вот будет у меня сын когда-нибудь. И мне даже страшно подумать, что я так

вот предам его. Я тех мужчин, которые своих детей бросают, презираю. Я тебя, Генка, презираю.

Все опешили. Никто не ожидал последних слов. Тем более от застенчивого, молчаливого Володи. Он сказал как ударил.

Гена секунду сидел неподвижно, рука застыла на Юлином колене. Потом, не сказав ни слова, поднялся и вышел из палатки.

Юля привстала с искаженным от злости лицом:

— Ты... ты... Что ты понимаешь! При чем тут Генкины дети? Он их вовсе не собирается бросать! Все вы идеалисты! Считаете, что если любовь, то обязательно до гроба! А если всего один полевой сезон? По-вашему, это уже не любовь?

— Любовь, замешенная на предательстве? Презираю такую любовь!

— Презираешь? Тоже нашелся учитель жизни! Завидуете просто Генке!

— Генке завидовать? — вмешался Костя. — Было бы в чем!

— Не ханжи, Костенька! Тоже еще примерный семьянин! «Ах, письмо от Кати!», «Ах, сыночек Митя!». Не обломилось вам, вот вы все и злитесь!

— Т-ты... Знаешь, ты кто?

— Ну кто, кто?

— Сказал бы я...

— Лисичкин прав, — произнесла Таня.

— Прав?! — Юля насмешливо на нее взглянула. — Уж ты бы молчала! Сама втрескалась в своего Сашку, небось давно уже от нас с Генкой не отстаете!

— Неправда!

— Прямо неправда! Еще кому расскажи! И нечего других осуждать!

— Юля, прекрати! — сказала Наташа.

— А пошли вы все к черту! — крикнула Юля, натянула сапоги, сорвала с гвоздика штормовку и выскочила из палатки.

В глубокой миске стыли оладьи. Кто-то включил транзистор. Молча слушали последние известия.

— Противно, — сказал Костя.

— Дрянь баба, — произнес Витя Рощин.

— А мне ее жалко, — тихо сказала Наташа.

— Ее?! — удивился Витя. — Паршивая овца все стадо портит! Чего ее жалеть?!

— А вот потому и жалею... Она не овца. Плохо ей, ребята.

Дождик все сыпал и сыпал, бесконечный, унылый.

Небо открылось так же неожиданно, как и закрылось. Комары очнулись. Правда, еще не набрали силу, летали вяло, и в звоне их не слышалось агрессивности, скорее жалоба на такую вот нескладную комариную жизнь, от дождя до дождя.

— Ты сегодня в маршрут не ходи, — сказала Наташа. — Обещали вертолет. Я ребятам уже сказала. Там график остался незаконченный — дочертишь.

«Вот и все, — подумала Таня. — Так просто и буднично».

Еще вчера они с Сашей ходили в тайгу, рвали совсем уже спелые, липкие от смолы кедровые шишки. Шишки маленькие, но орешки в них — самые настоящие, с коричневыми, еще не затвердевшими скорлупками, с белыми, молочными зернышками, обтянутыми нежной кожицей. Они набрали полные карманы шишек.

— Как же так? — растерянно сказала Таня. — Значит, я без вас улечу? Даже не попрощаюсь?

— А мы еще встретимся, Танюшка. Ты и на будущий год к нам придешь, я уж чувствую. Ведь придешь?

— А вы возьмете?

— Обязательно.

...Таня смотрела, как они уходят. Может, в последний раз она видит Сашу. Она ста-

ралась запомнить, как он идет — широким шагом, неторопливо, уверенно. Неужели не оглянется?

Оглянулся. Махнул рукой. И сейчас же густой кустарник закрыл его, только видно было, как ветки стланика качаются в том месте, где он прошел.

Она побрела по опустевшему лагерю. Остались только те, кто не ходил в маршруты: радист, повар и студенты, которым тоже сегодня улетать. Студенты сидели на солнышке, вытащив из палатки надувной матрац, играли в карты. Тут же, в ногах у Леши Базарова, свернулась Найда.

Юля сегодня тоже осталась в лагере. Ей нездоровилось.

Тане захотелось привезти домой немного ягеля, на память о тайге. Но в лагере ягель повытоптали, и она, отыскав коробку из-под печенья, пошла в сторону от лагеря, где мох лежал нетронутым. Вышла на небольшую полянку, окруженную лиственницами. Посреди полянки на упавшем сухом стволе сидел бурундучок. Она остановилась, чтобы не спугнуть его. Но он почувствовал близость человека, пробежал по стволу и влез на соседнее дерево, мелькнув полосатой спинкой.

Таня села на ствол, обвела глазами полянку, деревья, знакомую сопку с крутой осыпью серых «бульников», и вдруг все расплылось от подступивших слез.

Она услышала тонкий свист, испуганно подняла голову. Это бурундучок свистел, глядя на нее с дерева своими любопытными черными глазками. Она улыбнулась, махнула ему рукой, и он тотчас же взлетел вверх по стволу, под самую вершину, и оттуда продолжал наблюдать за ней.

Таня погрузила ладони в мягкую, податливую почву, осторожно вынула кусок ягеля вместе с черными корешками и переложила в коробку. Ягель лежал в коробке, как маленький островок, и каждая веточка, плотно прижатая к остальным, напоминала крохотное деревце.

Потом она вернулась в палатку, собрала вещи в рюкзак. Свернула и запихала в чехол спальный мешок. На нарах остались войлок и оленья шкура. Теперь ими будут пользоваться другие.

«Вот и все, — повторила она мысленно, с грустным удивлением, — вот и все».

Юля лежала на нарах, в обычной своей позе, на спине, нога на ногу, с пепельницей на животе. Курила. После той ссоры она с Таней не разговаривала.

Таня села за стол и начала достраивать график. Сквозь марлевый полог палатки она видела, как Алексей Алексеевич чинит рыбацкую сеть. Представила себе, как эту сеть забрасывают в море, и снова слезы подступили к глазам.

Потом она увлеклась — работа требовала напряжения, чуть отвлечешься — проведешь линию не там, где надо.

Как сквозь сон, услышала слабый-слабый гул, будто комариный звон. Он постепенно сгущался, и Таня вдруг осознала, что́ это, вздрогнула, вскочила, уронила линейку.

— Вертолет!

Она схватила рюкзак, оглядела палатку — не забыла ли чего...

— Таня!

Юля соскочила с нар, кинула в пепельницу начатую сигарету.

— Таня... Вот что... Ты оставайся, а я улечу. Вместо тебя.

— Как? — растерялась Таня. — Да ведь приказ-то на меня... и вообще... Как же?

— Не могу тут больше, вот и все! Не могу я так! Я должна уехать.

Осунувшаяся, подурневшая, она в упор смотрела на Таню, в этом взгляде не было уже ничего победоносного или загадочного, а была только тоска и невысказанная обида.

— Подожди... Но как же...

Юля торопливо запихивала в рюкзак кофточки, носки, пижаму, кеды...

— Не знаю как. Как-нибудь объяснишь. Да все и так поймут. А приказ — ерунда. Перепишут на мою фамилию, и все.

— А Генка знает?

— Нет. И не надо. Так для всех будет лучше. Я вам всем как кость в горле, я же вижу. Господи, ну почему мне так не везет?! — произнесла она с рыданием в голосе.

— Юля! — сама чуть не плача, сказала Таня. — Может, не надо, а? Может, у вас и правда любовь настоящая?

— Оставь, птенчик. Любовь — это не про меня. Подержи-ка чехол, я мешок засуну.

Она надела свитер и штормовку и, держа рюкзак за лямки, потащила его к посадочной площадке. Таня шла за ней со спальным мешком. Их догнал Ваня Терехов с пачкой писем, передал письма Тане и подхватил вещи.

Вертолет еще не приземлился, кружил и кружил над лагерем, похоже, пилот не мог разглядеть площадку. Студенты развели по сторонам площадки дымокуры, и только тогда вертолет сел.

Из кабины выкатывали бочки с горючим, мешки с мукой и картошкой. Найда тревожно лаяла из кабины. Леша крикнул:

— Танька, лезь давай, а то без тебя улетим.

— Юля, — торопливо сказала Таня, — письмо к маме не успела написать. Ты ей позвони, объясни ей все. Ну, объясни, как сможешь. Скажи, я очень рада за нее, пусть не думает, не беспокоится.

— Ладно, позвоню. Прости меня, птенчик, не обижайся, ладно?

— Ну что ты, Юля, я понимаю.

— Не понимаешь ты... И не надо.

Пилоты стояли у кабины, ждали. Их было двое, в голубых летных формах, в начищенных туфлях. И Таня вдруг на секунду пожалела, что остается. Только на секунду.

— Я тебе, Юля, желаю... самого-самого хорошего. Чтобы все исполнилось, что ты хочешь.

— Эх, если бы я сама знала, что я хочу... Может, в этом и беда моя... Ну, ладно!

Они крепко обнялись, поцеловались. Юля по лесенке забралась в кабину, прильнула к иллюминатору.

— Что за дьявол? — вытаращил глаза Терехов. — Почему Юлька улетает, а не ты?

— Так надо, — ответила Таня.

— Да? — озадаченно произнес радист. — Что же мне-то не сказали? Я ведь уже РДО дал на базу.

— Дашь еще, вечером.

Закрутился винт, побежали по кустам и ягелю волны. Таня махала, махала, уж вертолет поднялся, и вряд ли Юля могла видеть ее, а она все махала, пока Терехов не положил ей руку на плечо.

— Хватит тебе. Возьми вон сверток с почтой. Да ты, никак, расстроилась? Брось! Умотала — туда ей и дорога.

— Злые мы все, Терехов, — сказала Таня.

— При чем тут злые? — удивился он. — Не сошлись характерами, вот и все. Как говорится, «была без радости любовь, разлука будет без печали».

Вертолет становился все меньше и меньше, стрекот его затихал, пока не превратился в комариный звон.

До базы два с лишним часа лету, и почти все это время Юля не воспринимала окружающее из-за душивших ее слез. Она сидела, прильнув к иллюминатору, спиной к ребятам, но ничего не видела, не отвечала на вопросы, ей было грустно, просто до отчаянности

грустно, что все кончено, что еще один отрезок жизни позади.

Что принесет ей следующий?

Все кончилось, ее снова отторгли. Ее отторгли раньше, чем она убежала. Бегство — это только конечный результат.

Сопки становились все выше, это были уже не сопки, а настоящие горы с острыми, гладкими, выветренными вершинами. Желтый мох сменился зеленой травой, и вот началась широкая прибрежная полоса, потянулся залив, и на той стороне залива появился поселок. Серые деревянные дома, сараи, моторные лодки, катера, лебедки. База.

Они отыскали дом начальника геологической базы Краснова. Краснов, мужчина лет пятидесяти, с озабоченным лицом хозяйственника, устроил их на ночлег: Юлю — на кухоньке, на раскладушке, а ребят — в сарайчике, где тоже стояли раскладушки и была печка. Сам Краснов жил во второй комнате домика, где, кроме широкой, под белым покрывалом старомодной кровати, стола и стеллажа с книгами, стоял телевизор.

Вечером на телевизор собрался народ — командированный из Ленинграда, шоферы, бородатый геолог из партии Горохова, радист центральной базы, позывные которого «Лом-восемь» Юля каждое утро слышала на Солнечном.

Передавали «Семнадцать мгновений весны», четвертую серию. Юля тоже смотрела, но ничего не понимала, да и не пыталась понять. Сидела позади всех и думала: «Что-то надо менять. Что-то надо менять...»

## СОДЕРЖАНИЕ

**Рассказы**

Мальчик и снег . . . . . 5
Старожилы города Тасбулата . . . . . 24
Обратный билет . . . . . 41
Дорога на Актаныш . . . . . 57
Колдунья . . . . . 73
Тройка за Ленинград . . . . . 84
В троллейбусе . . . . . 89

**Повесть**

«Лотос-четыре» . . . . . 97

Масс А. В.
М 32 Мальчик и снег : Рассказы и повесть. — М. : Мол. гвардия, 1984. — 175 с.

50 к. 100 000 экз.

Круг проблем, интересующих писательницу, связан с современной советской семьей. Автор показывает жизнь наших современников как процесс сложный, противоречивый, в котором воспитанию не только личностных, но и гражданских чувств придается большое значение. В повести и нескольких рассказах автор показывает нелегкий труд геологов, возмужание вчерашних студентов, работающих в трудных условиях поисковой партии.

М $\frac{4702010200-172}{078(02)-84}$ 096—84

ББК 84Р7
Р2

ИБ № 3745

Анна Владимировна Масс

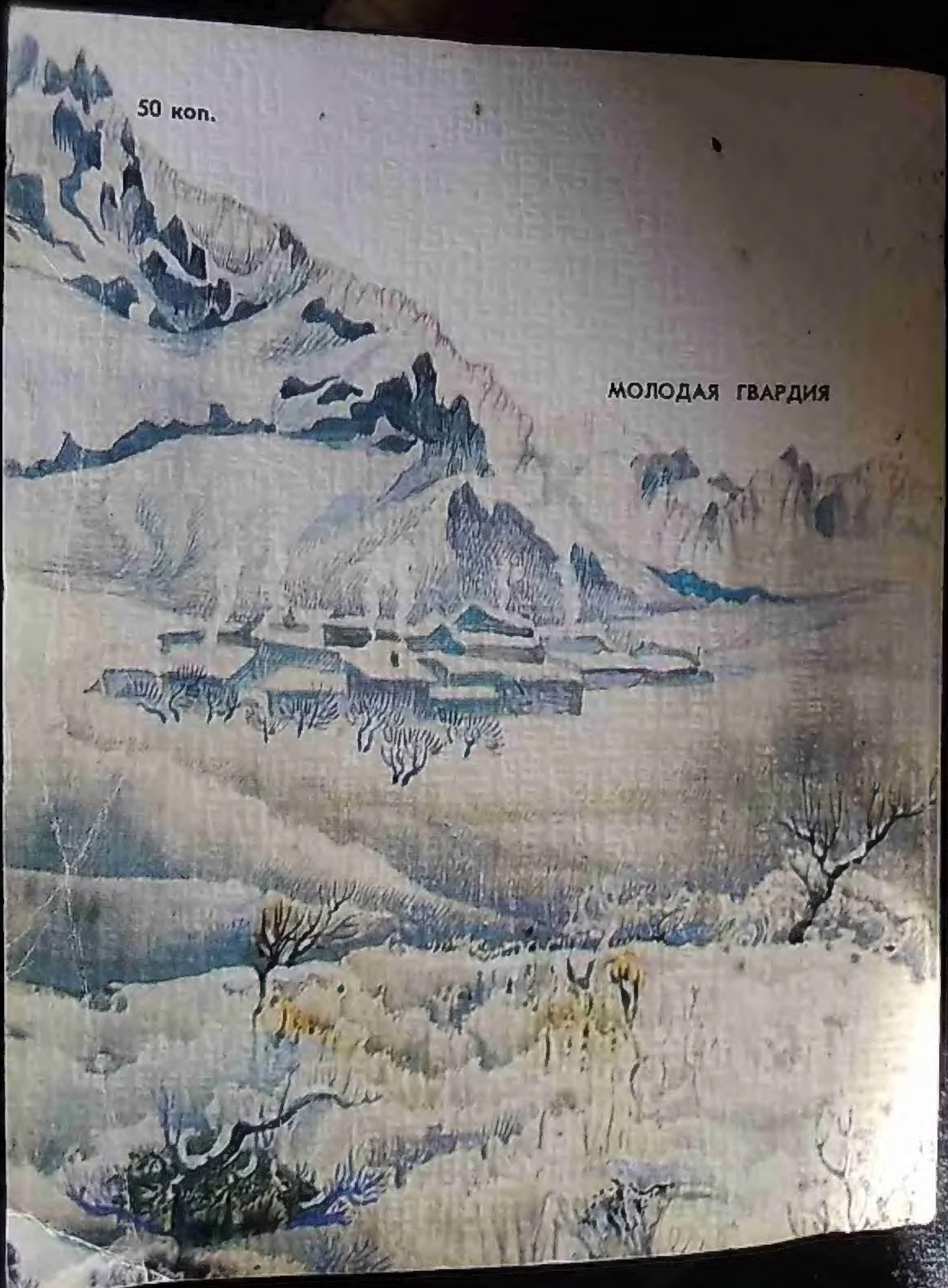
МАЛЬЧИК И СНЕГ

Редактор Н. Самарская
Художник Е. Флерова
Художественный редактор А. Романова
Технический редактор Н. Вихрова
Корректоры Н. Самойлова, Г. Василёва

Сдано в набор 06.02.84. Подписано в печать 23.05.04. А07098. Формат 70×108 1/32. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 7,7. Усл кр.-отт. 8,05. Учетно-изд. л. 7,9. Тираж 100 000 экз. Цена 50 коп. Заказ 2301.

Набор и матрицирование в типографии ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

Печать в полиграфкомбинате ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». Адрес типографии: 252119, Киев-119, Пархоменко, 38—44. Заказ 4—197.


50 коп.
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ